

Проспер Мериме

Кармен



*Часть сборника
Хроника царствования Карла IX.
Кармен (сборник)*



Annotation

«... Я надеялся исподволь вызвать незнакомца на откровенность и, невзирая на подмигивание проводника, навел разговор на разбойников с большой дороги. Разумеется, я говорил о них с уважением. В то время в Андалусии подвизался знаменитый разбойник, подвиги которого были у всех на устах. «А что, если бок о бок со мной едет сам Хосе Мария?» – говорил я себе. Я принялся рассказывать истории, слышанные мною об этом герое, – впрочем, все они были к его чести – и открыто выражал свое восхищение его смелостью и великодушием.

– Хосе Мария попросту мерзавец, – холодно заметил незнакомец.

«Отдает ли он себе должное, или же это излишняя скромность с его стороны?» – недоумевал я; в самом деле, чем внимательнее я вглядывался в своего спутника, тем больше поражало меня его сходство с тем Хосе Мария, приметы которого были вывешены на воротах многих андалусских городов. «Да, это он... »

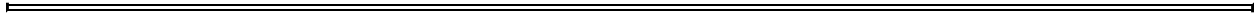
- [Проспер Мериме](#)

- [Глава 1](#)
- [Глава 2](#)
- [Глава 3](#)
- [Глава 4](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)

- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)



Προσπερ Μερимε Καρμεν

*Παῖσα γυνή χόλοζ ἐστίν ἔχει δαγαθάζ δύο ωραζ,
Τὴν μίαν ἐν θαλάμω, τὴν μίαν ἐν θανάτῳ.*

Παλλάδαζ^[1]

Глава 1

Я всегда считал, что географы сами не знают, что говорят, утверждая, будто поле битвы при Мунде находится в стране пунических бастулов, а именно близ нынешней Монды, милях в двух к северу от Марбельи. На основании выводов, сделанных мною из *Bellum Hispaniense*, книги некоего анонимного автора, и сведений, которые мне удалось почерпнуть в превосходной библиотеке герцога Осунского, я полагал, что достопамятное место, где Цезарь в последний раз все поставил на карту в своей борьбе против сторонников республики, надобно искать неподалеку от Монтильи. Находясь в Андалусии ранней осенью 1830 года, я предпринял довольно длительную поездку, чтобы рассеять немногие еще остававшиеся у меня сомнения. Исследование, которое я собираюсь опубликовать, ответит, надеюсь, на недоуменные вопросы всех добросовестных археологов. А в ожидании того, когда мой труд разрешит, наконец, географическую загадку, поставившую в тупик всю ученую Европу, я хочу рассказать вам небольшую историю; замечу, что она ни в коей мере не предreshает любопытного вопроса о местонахождении Мунды.

Я нанял в Кордове проводника с двумя лошадьми и отправился в поход, не имея при себе иного багажа, кроме *Записок Цезаря* и нескольких рубашек. Я бродил как-то по возвышенной части Каченской равнины и, изнемогая от усталости, умирая от жажды, палимый раскаленными лучами солнца, от всего сердца посылал к черту Цезаря и сыновей Помпея, как вдруг заметил неподалеку от тропинки, по которой ехал, зеленую лужайку, кое-где поросшую камышами и тростником. Вид ее предвещал близость источника. В самом деле, я вскоре убедился, что предполагаемая лужайка была болотом, в котором терялся ручей, по-видимому, вытекавший из узкого ущелья между двумя высокими отрогами съерры Кабра. В голову мне пришла мысль, что, поднявшись вверх по его течению, я найду воду похолоднее с меньшим количеством пиявок и лягушек, а также, быть может, немного тени среди скал. При въезде в ущелье конь мой заржал, и ему тут же ответил другой, не видимый мною конь. Не успел я проехать и сотни шагов, как ущелье внезапно расширилось, явив моему взору нечто вроде естественного амфитеатра, затененного окружающими его обрывистыми склонами. Невозможно было найти место, сулящее путнику более приятный отдых. У подножия отвесных скал ручей, бурля, ускорял свой бег и падал с кручи в маленькое озеро, дно которого было устлано

белоснежным песком. Внизу росли великолепные каменные дубы; защищенные от ветра и обильно питаемые влагой ручья, они бросали на него густую тень. Наконец мягкая, глянцевиная трава по берегам озерца обещала путнику ложе, лучше которого нельзя было бы сыскать ни в одной харчевне на десять миль вокруг.

Однако не мне принадлежала честь открытия этого превосходного места. Там уже отдыхал какой-то человек, и, когда я подъехал к нему, он, видимо, спал. Разбуженный ржанием, он вскочил на ноги и подошел к своему коню, который воспользовался сном хозяина, чтобы досыта наесться растущей поблизости травой. То был молодой малый среднего роста, но с виду ловкий и сильный, которого отличал мрачный гордый взгляд. Под действием солнца цвет его лица, вероятно, светлый от природы, был теперь темнее волос. В одной руке он держал недоуздок, в другой – медный мушкетон. Признаюсь, поначалу меня несколько озадачили и мушкетон, и свирепый вид его владельца; но я разуверился в существовании разбойников, ибо ни разу не видел их, хотя и был о них наслышан. Кроме того, я встречал стольких честных фермеров, которые вооружались до зубов, дабы ехать на рынок, что наличие огнестрельного оружия еще не давало мне права ставить под сомнение добропорядочность незнакомца. «Да и, кроме того, – подумал я, – на что ему мои рубашки и *Записки Цезаря*, напечатанные эльзевирами?» Итак, я приветствовал человека с мушкетом дружелюбным кивком и осведомился, улыбаясь, не нарушил ли я его покоя. В ответ он молча смерил меня взглядом с головы до ног и, вероятно, удовлетворенный осмотром, столь же внимательно посмотрел на подъезжающего проводника. Я заметил, что тот побледнел и с очевидным испугом осадил коня. «Неприятная встреча!» – подумал я, но осторожности ради решил не выказывать ни малейшего беспокойства. Я спрыгнул на землю, велел проводнику разнуздать моего коня и, встав на колени у ручья, погрузил в него голову и руки; затем лег ничком и в таком положении утолил жажду по примеру плохих воинов Гедеона.

Я наблюдал вместе с тем за своим проводником и за незнакомцем. Первый приближался с явной неохотой; второй, казалось, не замышлял ничего дурного; он отпустил своего коня и мушкетон держал уже не наперевес, а дулом вниз.

Не считая нужным обижаться на малое значение, какое он, видимо, придал моей особе, я растянулся на траве и непринужденно спросил, нет ли у него огнива. И тут же вытащил свой портсигар. Незнакомец все так же молча порылся у себя в кармане, достал огниво и услужливо высек для меня огонь. Он несомненно становился покладистее – он сел против меня,

не расставаясь, правда, со своим оружием. Закурив, я выбрал лучшую из оставшихся у меня сигар и спросил, не курит ли он.

– Курю, сеньор, – ответил он.

То были первые сказанные им слова, и я заметил, что он произносит s не по-андалусски^[2], из чего можно было заключить, что он путешественник, как и я, но только не совсем археолог.

– Возьмите, пожалуйста, вот эта недурна, – сказал я, предлагая ему настоящую гаванскую сигару.

Он слегка наклонил голову в знак благодарности, прикурил от моей сигары, еще раз кивнул мне и затянулся с нескрываемым наслаждением.

– До чего ж я давно не курил! – воскликнул он, медленно выпуская первую затяжку изо рта и ноздрей.

В Испании выкуренная вместе сигара располагает людей друг к другу, подобно угощению хлебом и солью на Востоке. Курильщик мой оказался более разговорчивым, чем я полагал. Впрочем, хоть он и утверждал, что живет в Монтильском округе, но с местностью знаком был плохо. Он не знал наименования прелестной долины, где мы находились, не мог назвать ни одной близлежащей деревни и, наконец, на мой вопрос, не видел ли он в окрестностях разрушенных стен, больших черепиц с закраинами или украшенных орнаментом камней, признался, что никогда не обращал внимания на такие мелочи. Зато он оказался знатоком по части лошадей. Он раскритиковал мою лошадь, что было нетрудно сделать, затем описал родословную своего коня, знаменитого кордовского завода, животного поистине благородного и такого выносливого, что, по словам незнакомца, он как-то проскакал на нем галопом и крупной рысью тридцать миль за один день. Посреди своей тирады он вдруг запнулся, как бы спохватившись, что наговорил лишнего. «Видите ли, я очень торопился в Кордову, – заметил он не без смущения. – Мне надо было посоветоваться с законниками по поводу одной тяжбы...» Говоря это, он смотрел на Антонио, который сидел потупившись.

Тенистое место и ручей привели меня в такое хорошее расположение духа, что я вспомнил о ломтях превосходной ветчины, которые мои монтильские друзья положили в переметную суму проводника. Я велел достать их и пригласил незнакомца принять участие в этом наскоро устроенном завтраке. Если он давно не курил, то не ел, вероятно, не меньше двух суток. Он набросился на еду, как голодный волк. Я подумал, что встреча со мной была как нельзя более кстати для бедного малого. Между тем мой проводник ел мало, пил и того меньше и вовсе не говорил, хотя в начале нашего путешествия показался мне изрядным болтуном.

Присутствие нашего гостя, видимо, стесняло его, и взаимное недоверие разделяло обоих, хотя причину этого я не совсем понимал.

Последние крошки хлеба и ветчины были доедены; мы успели выкурить по второй сигаре; я велел проводнику взнуздать обоих коней и собрался было проститься со своим новым приятелем, но он спросил меня, где я намерен провести ночь. Не заметив поначалу знаков, которые мне делал проводник, я ответил, что направляюсь в венту дель Куерво.

– Неподходящее это место для такого человека, как вы, сеньор... Я еду туда же и, если разрешите, провожу вас.

– Охотно, – ответил я, садясь в седло.

Проводник, державший мне стремя, снова многозначительно взглянул на меня. В ответ я лишь пожал плечами, как бы говоря, что не вижу причины для беспокойства, и мы двинулись в путь.

Таинственные знаки и тревога Антоньо, некоторые слова, вырвавшиеся у незнакомца, а главное, его тридцатимильная скачка и не слишком правдоподобное ее объяснение все же помогли мне составить мнение о моем попутчике. Я не сомневался, что имею дело с контрабандистом, быть может, с вором, но какое это имело значение? Я хорошо знал характер испанцев и был вполне уверен, что мне нечего опасаться человека, с которым мы вместе закусывали и курили. Само его присутствие было надежной защитой на случай какой-нибудь неприятной встречи. К тому же мне было интересно узнать, что представляет собой настоящий разбойник. Ведь с разбойниками не так уж часто встречаешься, и есть нечто заманчивое в соседстве с человеком опасным, особенно когда чувствуешь, что он расположен к тебе, приручен.

Я надеялся исподволь вызвать незнакомца на откровенность и, невзирая на подмигивание проводника, навел разговор на разбойников с большой дороги. Разумеется, я говорил о них с уважением. В то время в Андалусии подвизался знаменитый разбойник, подвиги которого были у всех на устах. «А что, если бок о бок со мной едет сам Хосе Мария?» – говорил я себе. Я принялся рассказывать истории, слышанные мною об этом герое, – впрочем, все они были к его чести – и открыто выражал свое восхищение его смелостью и великодушием.

– Хосе Мария попросту мерзавец, – холодно заметил незнакомец.

«Отдает ли он себе должное, или же это излишняя скромность с его стороны?» – недоумевал я; в самом деле, чем внимательнее я вглядывался в своего спутника, тем больше поражало меня его сходство с тем Хосе Марией, приметы которого были вывешены на воротах многих андалусских городов. «Да, это он... Светлые волосы, голубые глаза, крупный рот,

прекрасные зубы, небольшие руки; рубашка из тонкого полотна, бархатная куртка с серебряными пуговицами, белые кожаные гетры, гнедая лошадь... Никаких сомнений – это он! Но будем уважать его инкогнито».

Мы приехали в венту. Она оказалась именно такой, как говорил незнакомец, то есть одной из самых неказистых, какие мне доводилось видеть. Состояла она из одной большой комнаты, служившей одновременно кухней, столовой и спальней. Огонь разводили посреди помещения на большом плоском камне, а дым выходил из отверстия, проделанного в крыше, или, вернее, застаивался наподобие облака в нескольких футах от пола. Вдоль стен лежали старые ослиные попоны – постели, приготовленные для путешественников. В двадцати шагах от дома, или, точнее, от единственной комнаты, только что описанной мною, я увидел нечто вроде сарая, служившего конюшней. В этом восхитительном пристанище не было иных человеческих существ, по крайней мере в ту минуту, кроме старухи и девочки лет десяти-двенадцати, черных, как сажа, и одетых в неопишуемые лохмотья. «Вот все, что сохранилось от народа, некогда населявшего Бэтическую Мунду, – подумал я. – О Цезарь! О Секст Помпей! Как вы были бы поражены, доведись вам вернуться в этот мир!»

При виде моего спутника у старухи вырвался возглас удивления:

– Как, это вы, сеньор дон Хосе?!

Дон Хосе нахмурился и, повелительно подняв руку, сразу заставил старуху прикусить язык. Я обернулся к проводнику и еле приметным знаком дал ему понять, что и без него понимаю, с каким человеком мне предстоит провести ночь. Ужин оказался лучше, чем можно было ожидать. Нам подали на столике, не больше фута высотой, рагу из старого петуха с перцем и рисом, затем перец в оливковом масле и, наконец, *гаспачо* – род салата из перца. Три столь острых блюда вынудили нас частенько прибегать к бурдюку с монтильским вином, которое оказалось превосходным. Поужинав, я заметил висящую на стене мандолину – в Испании всюду имеются мандолины – и спросил прислуживавшую нам девочку, играет ли она на ней.

– Нет, – ответила она, – а вот дон Хосе уж больно хорошо играет.

– Будьте добры, – обратился я к нему, – спойте мне что-нибудь, я безумно люблю вашу народную музыку.

– Я ни в чем не могу отказать такому достойному сеньору, который вдобавок угощает меня такими отменными сигарами, – весело отозвался дон Хосе.

Он велел подать мандолину и запел, сам себе аккомпанируя. Голос у него был грубоват, но приятен, напев показался мне печальным и

странным, но я не понял ни одного слова.

– Если не ошибаюсь, – сказал я ему, – вы спели не испанскую песню. Она походит на *сорсико*, которые мне доводилось слышать в *Провинциях*^[3], а слова песни, видно, баскские.

– Да, – мрачно ответил дон Хосе.

Он положил мандолину на пол и, скрестив руки, с выражением неизъяснимой печали устремил взор на затухающий огонь очага. Освещенное лампой, стоявшей на столике, его лицо, одновременно благородное и необузданно-дикое, напоминало мне мильтоновского сатану. Как и тот, мой спутник, вероятно, думал о родном крае и об изгнании, которому подвергся по собственной вине. Я попытался возобновить разговор, но дон Хосе молчал, поглощенный своими невеселыми думами. Старуха уже легла спать в углу комнаты, за висящим на веревке дырявым одеялом. Девочка тоже ушла вслед за ней в это убежище, предназначенное для прекрасного пола. Тут поднялся с места мой проводник и попросил меня сходить с ним в конюшню. При этих словах дон Хосе, как бы внезапно пробудившись, резко спросил его, куда это он собрался.

– В конюшню, – ответил проводник.

– Зачем? У лошадей есть корм. Ложись здесь, сеньор разрешит.

– Боюсь, как бы конь сеньора не заболел; пусть сеньор сам на него взглянет, может, посоветует, что с ним делать.

Было ясно, что Антоньо нужно поговорить со мной с глазу на глаз; но я не собирался вызывать подозрения у дон Хосе, да и при возникшей между нами приязни почитал за лучшее выказывать ему полнейшее доверие. Итак, я ответил Антоньо, что ничего не смыслю в лошадях и, кроме того, хочу спать. Вместе с Антоньо в конюшню отправился дон Хосе, но вскоре вернулся. По его словам, конь был вполне здоров, но проводник так печется о нем, что усердно растирает ему бока собственной курткой, дабы вызвать испарину, и намерен провести всю ночь за этим приятным занятием. Между тем я улегся на ослиных попонах, тщательно закутавшись в плащ, чтобы к ним не прикасаться. Попросив у меня извинения за то, что он осмеливается лечь рядом со мной, дон Хосе растянулся возле двери, но предварительно насыпал свежего пороха в свой мушкетон и положил его под переметную суму, служившую ему подушкой. Пожелав друг другу покойной ночи, мы через пять минут уже спали глубоким сном.

Мне казалось, что усталость возьмет свое и я сумею проспять всю ночь в этом убогом жилище; но не прошло и часа, как пренеприятный зуд нарушил мой сон. Без труда убедившись, чем он вызван, я подумал, что лучше провести остаток ночи под открытым небом, чем под этим

негостеприимным кровом. Я встал, на цыпочках подошел к двери, перешагнув через дону Хосе, который спал сном праведника, и так тихо вышел на улицу, что не разбудил его. Возле двери стояла широкая деревянная скамья; я примостился на ней, чтобы поудобнее провести остаток ночи, и собрался снова уснуть, как вдруг мне почудились две тени – человека и коня, – бесшумно двигавшиеся рядом. Я приподнялся, и мне показалось, что человек этот Антоньо. Удивленный тем, что он вышел из конюшни в столь поздний час, я встал и направился к нему. Заметив меня, проводник остановился и спросил шепотом:

– Где он?

– В венте. Спит, даже клопов не боится. Куда вы ведете коня?

Тут я заметил, что Антоньо старательно обмотал копыта лошади обрывками старого одеяла, чтобы неслышно вывести ее из сарая.

– Говорите тише, ради бога, – молвил Антоньо. – Неужто вы не знаете, кто этот человек? Это же Хосе Наварро, самый знаменитый разбойник в Андалусии. Я весь день делал вам знаки, но вы не сообразили меня понять.

– Разбойник он или нет, какое мне до этого дело? – возразил я. – Он нас не ограбил, и готов побиться об заклад, что не собирается грабить.

– Тем лучше, но за его выдачу обещаны двести дукатов. В полутора лье отсюда находится уланский пост, и я успею вернуться до рассвета с дюжими молодцами. Я хотел было взять коня Наварро, но он такой злющий, что никого к себе не подпускает, кроме хозяина.

– Черт бы вас побрал! – сказал я. – Что вам сделал плохого этот несчастный человек? Зачем выдавать его? Да и уверены ли вы, что это тот самый знаменитый разбойник?

– Еще бы, конечно, уверен. Давеча, на конюшне, он вдруг говорит мне: «Ты, видно, знаешь меня. Но попробуй только сказать, кто я такой, этому доброму сеньору, и я всажу тебе пулю в лоб». Оставайтесь, сеньор, оставайтесь: вам его нечего опасаться. Пока вы здесь, он ничего не заподозрит.

Разговаривая, мы настолько отошли от венты, что оттуда уже нельзя было услышать стук лошадиных копыт. Антоньо мигом снял тряпье, которым были обмотаны копыта коня, и собрался вскочить в седло. Просьбами и угрозами я попытался его удержать.

– Я бедный человек, сеньор, – сказал он. – Двести дукатов на полу не валяются, да и платят их за то, чтобы избавить наш край от такой напасти, как Наварро. Будьте осторожны: если он проснется, то сразу схватится за мушкетон, и тогда берегитесь! Мне отступить поздно: я слишком далеко

зашел. Выпутывайтесь как знаете.

Негодяй вскочил в седло; он пришпорил коня, и было так темно, что я вскоре потерял его из виду.

Я был крайне встревожен и очень зол на своего проводника. Поразмыслив, я принял решение и вернулся в венту. Дон Хосе все еще спал – наверно, восстанавливал силы после нескольких изнурительных дней и бессонных ночей. Мне пришлось растолкать его. Никогда не забуду его свирепого взгляда и движения, которое он сделал, чтобы схватить мушкетон, который я из предосторожности положил подальше от него.

– Сеньор, – сказал я ему, – извините, что разбудил вас, но мне надо задать вам один дурацкий вопрос. Скажите, было бы вам приятно или нет, если бы сюда нагрянули уланы?

Он вскочил на ноги и грозно спросил:

– Кто вам сказал?

– Не все ли равно, лишь бы совет был хорош.

– Ваш проводник предал меня, но он поплатится за это. Где он?

– Не знаю... Должно быть, в конюшне... Но мне сказали...

– Кто?.. Старуха не могла сказать...

– Какой-то человек, я его не знаю... Без дальних слов, намерены вы или нет ждать солдат? Если нет, то не теряйте времени; в противном случае, покойной ночи, извините, что зря потревожил вас.

– Уж этот мне проводник! Он сразу не понравился мне... но... его песенка спета!.. Прощайте, сеньор. И да воздаст вам господь бог за услугу, которую вы мне оказали. Я не так уж плох, как вы можете подумать... Да, во мне еще есть кое-что хорошее, и я заслуживаю сострадания порядочного человека... Прощайте, сеньор... Об одном жалею, что ничем не могу отблагодарить вас.

– В благодарность за мою услугу обещайте, дон Хосе, никого не подозревать и не думать о мести. Натэ, вот вам несколько сигар на дорогу. Счастливого пути!

Я протянул ему руку. Он молча пожал ее, схватил мушкетон, переметную суму и, сказав несколько слов старухе на непонятном мне наречии, бегом бросился в конюшню. Несколько секунд спустя я услышал удаляющийся галоп его коня.

Я снова лег на скамью, но уснуть мне так и не удалось. Я мучительно думал о том, правильно ли я поступил, избавив от виселицы вора, а может быть, и убийцу только потому, что мы ели вместе с ним ветчину и рис по-валенсийски. Не предал ли я своего проводника, стоявшего на стороне закона? Не подверг ли я его мести негодяя? Ну, а долг гостеприимства?..

Первобытный предрассудок, и только, – размышлял я. К тому же отныне мне придется нести ответственность за все будущие преступления этого разбойника... Но разве можно назвать предрассудком некий внутренний голос, не подвластный доводам разума? По всей вероятности, угрызения совести неизбежны в том щекотливом положении, в котором я очутился. Я все еще пребывал в полнейшей нерешительности касательно нравственности своего поступка, как вдруг увидел человек пять всадников вместе с моим проводником, который благоразумно держался в арьергарде. Выйдя им навстречу, я сказал, что разбойник спасся бегством более двух часов назад. На вопросы бригадира старуха ответила, что она знает Наварро, но живет здесь одна и ни за что не донесла бы на него из страха за свою жизнь. Она добавила, что, бывая у нее, он всегда уезжает ночью. Мне же пришлось отправиться за несколько лье от венты, чтобы предъявить паспорт и дать показания алькайду, после чего я получил разрешение продолжать свои археологические изыскания. Антоньо злился на меня, подозревая, что я помешал ему заработать двести дукатов. Однако в Кордове мы расстались по-приятельски, ибо я расплатился с ним так щедро, как только позволяло состояние моего кошелька.

.....

Глава 2

Я провел в Кордове несколько дней. Мне было известно, что в библиотеке доминиканцев имеется некая рукопись, в которой можно найти интересные сведения о Древней Мунде. Прекрасно принятый гостеприимными монахами, я проводил весь день в монастыре, а вечером гулял по городу. Перед заходом солнца на набережной, идущей по правому берегу Гуадалкивира, бывает немало праздного люда. Правда, прохожие вдыхают там запах кожевенного завода, донныне поддерживающего былую славу города по части выделки кож, зато их ожидает зрелище, не лишенное приятности. За несколько минут до вечерней молитвы множество женщин собирается на берегу реки, под высокой набережной. Ни один мужчина не смеет присоединиться к ним. Как только зазвонит соборный колокол, призывающий к вечерней молитве, принято считать, что наступила ночь. С последним его ударом все эти женщины раздеваются и входят в воду. И тут поднимаются крики, визг, смех. Мужчины смотрят вниз, таращат глаза, но мало что видят. Однако смутные очертания нагих купальщиц на фоне темно-синей реки настраивают умы на поэтический лад, и мужчины, наделенные воображением, могут представить себе, не опасаясь участи Актеона, купание Дианы и ее нимф. Мне говорили, что однажды несколько сорванцов подкупили соборного звонаря, и он позвонил к вечерней молитве на двадцать минут раньше обычного. И хотя еще было светло, гуадалкивирские нимфы ни минуты не колебались: поверив колоколу больше, нежели солнцу, они со спокойной душой произвели свое обычное и весьма незатейливое омовение. Меня при этом не было. В мое время звонарь был неподкупен, а сумерки так густы, что разве только кошка отличила бы самую старую торговку апельсинами от самой хорошенькой кордовской гризетки.

Однажды вечером, в час, когда уже ничего не было видно, я курил, облокотясь на парапет набережной; какая-то женщина поднялась по лестнице, ведущей к реке, и села рядом со мной. В волосах у нее был большой пучок жасмина, цветы которого изливают вечером пьянящий аромат. Она была просто и даже, быть может, бедно одета во все черное, как большинство гризеток в этот поздний час. Порядочные женщины носят черное лишь утром, а вечером одеваются *a la francesa*^[4]. Подойдя ко мне, купальщица сбросила на плечи мантилью, покрывавшую ее головку, «и в свете сумрачном, струящемся от звезд», я увидел, что она невысока,

молода, хорошо сложена и что у нее огромные глаза. Я тотчас же бросил сигару. Она оценила этот чисто французский знак внимания и поспешила сказать, что очень любит запах табака и даже сама курит, когда ей попадаются некрепкие душистые *papelitos*^[5]. По счастью, в моем портсигаре нашлись именно такие сигареты, и я с готовностью угостил ее. Она соблаговолила взять одну из них и зажгла ее о кончик тлеющей веревки, которую за медную монетку принес нам какой-то мальчик. Пуская одновременно струйки дыма, мы так заговорились с прекрасной купальщицей, что остались на набережной почти одни. Я решил, что не поступлю нескромно, пригласив ее отведать мороженого в *neveria*^[6]. Поколебавшись немного приличия ради, она согласилась, но сначала справилась о времени. Я поставил свои часы на бой, и звон их, видимо, очень удивил ее.

– Каких только изобретений нет у вас! Я хочу сказать, у вас, иностранцев. А вы из какой страны, сеньор? Должно быть, англичанин^[7].

– Я француз и ваш покорнейший слуга. А вы, сеньорита или сеньора, вы, верно, уроженка Кордовы?

– Нет.

– Во всяком случае, вы андалуска. Это чувствуется по вашему мягкому выговору.

– Если вы так хорошо разбираетесь в произношении, то должны угадать, кто я.

– Полагаю, вы из страны Иисуса, что в двух шагах от рая.

(Эту метафору, под которой подразумевается Андалусия, я слышал от известного матадора и моего друга Франсиско Севильи.)

– Вот как?.. А здесь говорят, будто рай этот не про нас.

– Так, значит, вы мавританка, или... – я запнулся, не смея сказать: еврейка.

– Да полноте! Вы же видите, что я цыганка. Хотите я скажу вам *la baji*^[8]? Слыхали о Карменсите? Это я.

В ту пору, а именно пятнадцать лет назад, я был таким нечестивцем, что не отшатнулся в ужасе, увидев рядом с собой колдунью. «Ну что ж, – подумал я, – на прошлой неделе я ужинал с отъявленным разбойником, а сегодня отведаю мороженого с приспешницей дьявола. Когда путешествуешь, надо все испытать». Был у меня и другой повод для продолжения этого знакомства. К стыду своему, должен признаться, что по окончании коллежа я потерял немало времени на изучение оккультных наук и даже не раз пытался заклинать духа тьмы. Давно исцелившись от своей

страсти к подобным занятиям, я еще не вполне утратил былого любопытства к суевериям и от души радовался, что мне предстоит узнать, на какую высоту поднялось ныне искусство ворожбы у цыган.

Беседуя, мы вошли с ней в *неверю* и сели за столик, освещенный свечой под стеклянным колпаком. Теперь я вполне мог разглядеть свою *хитану*, что я и сделал, в то время как несколько добропорядочных завсегдатаев ели мороженое и дивились, видя меня в столь своеобразном обществе.

Я сильно сомневаюсь, чтобы сеньорита Кармен была чистокровной цыганкой, во всяком случае, она показалась мне несравненно красивее тех ее соплеменниц, которых я когда-либо встречал. Чтобы женщина была красива, говорят испанцы, внешность ее должна соответствовать тридцати «если», иначе говоря, десяти прилагательным, каждое из которых применимо к трем частям ее лица или тела. Так, например, черными у нее будут глаза, ресницы и брови, тонкими – пальцы, губы и волосы и т. п. Об остальном можете справиться у Брантома. Моя цыганка не могла претендовать на такое совершенство. Кожа ее, впрочем, безупречно гладкая, цветом напоминала медь. Глаза были раскосые, но восхитительной формы, губы мясистые, но красиво очерченные, а зубы – белее очищенного миндаля. Волосы ее, на вид жестковатые, были длинные, блестящие, иссиня-черные, как вороново крыло. Не желая утомлять вас чересчур подробными описаниями, скажу только, что каждому ее недостатку соответствовало какое-нибудь достоинство, особенно бросающееся в глаза в силу этого контраста. То была странная, дикая красота, лицо, поначалу удивлявшее, которое, однако, невозможно было забыть. Особенно поражал ее взгляд, одновременно чувственный и дикий, такого взгляда я не видел больше ни у одного человеческого существа. «Цыганский взгляд – волчий взгляд», – утверждают цыгане, и поговорка эта говорит об их тонкой наблюдательности. Если вам некогда сходить в зоологический сад и понаблюдать за взглядом волка, посмотрите на свою кошку, когда она подстерегает воробья.

Было бы, конечно, нелепо заняться гаданием в кафе. А потому я попросил у хорошенькой колдуньи разрешения проводить ее домой; она охотно согласилась, но еще раз справилась о времени, прося меня поставить часы на бой.

– Они и в самом деле золотые? – спросила она, с необычайным вниманием разглядывая часы.

Когда мы двинулись в путь, стояла темная ночь; большинство лавок было закрыто, и улицы почти совсем опустели. Мы прошли по

Гуадалкивирскому мосту и на окраине предместья остановились у дома, отнюдь не похожего на дворец. Дверь нам открыл какой-то мальчик. Цыганка сказала ему несколько слов на неизвестном мне языке; как я узнал впоследствии, это было *роммани* или *чипе калы*, одно из наречий испанских цыган. Мальчик тотчас же исчез, оставив нас в довольно просторной комнате, вся обстановка которой состояла из маленького столика, двух табуретов и сундука. Следует также упомянуть кувшин с водой, груду апельсинов и связку лука.

Как только мы остались одни, цыганка вынула из сундука колоду карт, видимо, немало ей послужившую, магнит, сушеного хамелеона и другие предметы, необходимые для ее искусства. Мне было велено взять монету и начертить ею крест на моей левой ладони, после чего магический обряд начался. Нет нужды рассказывать вам о предсказаниях гадалки, что же касается ее приемов, то они и впрямь изобличали в ней колдунью.

К сожалению, нам вскоре помешали. Неожиданно дверь с грохотом распахнулась, и какой-то мужчина, закутанный до самых глаз в бурый плащ, вошел в комнату и не слишком ласково обратился к цыганке. Слов я не понял, но по его тону чувствовалось, что он чем-то очень недоволен. При виде его *хитана* не выказала ни удивления, ни досады, она бросилась ему навстречу и с величайшей поспешностью заговорила на том таинственном языке, которым уже пользовались в моем присутствии. Единственное, что я понял, было повторявшееся слово *пайльо*. Я знал, что цыгане называют так всякого человека не их племени. Полагая, что речь идет обо мне, я приготовился к неприятному объяснению и уже сжимал в руке ножку табурета, стараясь улучшить удобный момент, чтобы швырнуть его в голову незваного гостя. Грубо оттолкнув от себя цыганку, тот направился ко мне.

– Как, сеньор, это вы? – сказал он, попятившись.

Я в свою очередь взглянул на него и узнал моего друга дона Хосе. Тут я пожалел, что помешал его повесить.

– Так это вы, приятель! – воскликнул я, смеясь через силу. – Вы прервали сеньориту в ту самую минуту, когда она сообщала мне преинтересные вещи.

– Все та же, ничуть не изменилась... Но этому придет конец! – пробормотал он сквозь зубы, свирепо глядя на нее.

Между тем цыганка продолжала что-то говорить на своем языке. Она все больше распалялась гневом: глаза ее наливались кровью, взгляд угрожал, лицо искажалось, она топала ногой. Она как будто горячо убеждала его сделать что-то, а он колебался. Мне даже показалось, будто я

довольно хорошо понимаю суть дела, видя, как она быстро проводит своей маленькой ручкой у себя под подбородком. Речь, видимо, шла о том, чтобы перерезать чью-то глотку, и я сильно подозревал, что глотка эта – моя.

Выслушав поток ее красноречия, дон Хосе отрывисто произнес несколько слов. В ответ цыганка бросила на него взгляд, исполненный глубокого презрения; затем, усевшись по-турецки в углу комнаты, она выбрала апельсин, очистила его и принялась есть.

Дон Хосе взял меня под руку, отворил дверь и вышел вместе со мной на улицу. Мы прошли с ним шагов двести в полном молчании; затем, подняв руку, он проговорил:

– Все прямо, и вы окажетесь у моста.

Он тут же повернулся ко мне спиной и быстро зашагал прочь. Я пришел в гостиницу пристыженный и в прескверном расположении духа. Неприятнее всего было то, что, раздеваясь, я обнаружил исчезновение своих часов.

По некоторым причинам я не пошел на следующий день требовать их обратно, не обратился я и к коррехидору с просьбой разыскать их. Закончив свою работу над рукописью доминиканских монахов, я уехал в Севилью. После нескольких месяцев странствия по Андалусии я надумал вернуться в Мадрид, и мне снова пришлось проезжать через Кордову. У меня не было ни малейшего желания задерживаться в этом прекрасном городе, ибо я невзлюбил и его, и гуадалкивирских купальщиц. Но необходимость повидаться с друзьями и сделать кое-какие покупки вынудила меня пробыть дня три в этой древней резиденции мусульманских владык.

Едва я переступил порог доминиканского монастыря, как один из монахов, живо интересовавшийся моими изысканиями о местонахождении Мунды, бросился ко мне с распростертыми объятиями.

– Слава тебе господи! – воскликнул он. – Добро пожаловать, дорогой друг. Мы все считали, что вас уже нет в живых, и я, говорящий сейчас с вами, много раз прочел *Отче наш* и *Богородицу* – о чем нисколько не жалею – за упокой вашей души. Так, значит, вас не убили, а о том, что вас обокрали, нам доподлинно известно.

– Откуда? – спросил я не без удивления.

– Помните те прекрасные часы, которые вы ставили на бой в библиотеке, когда мы говорили вам, что пора идти в церковь? Так вот, похититель часов нашелся, и вам их вернут.

– Полноте, – перебил я его, растерявшись, – я их потерял.

– Негодяй под замком, но мы-то знали, что он способен застрелить любого христианина из-за какой-нибудь дрянной песеты, и умирали от

страха, полагая, что он вас убил. Я схожу с вами к коррехидору, и он вернет вам ваши прекрасные часы. Попробуйте теперь сказать, что испанское правосудие не знает своего дела!

– Право, лучше бы я лишился часов, чем свидетельствовать против бедного малого, которого, чего доброго, еще повесят, потому... потому что...

– О, не беспокойтесь, он много чего натворил, а дважды его не повесят. Но я ошибся, сказав, что его повесят. Ваш вор – идальго, вот почему послезавтра его удавят^[9] – и без всякого снисхождения. Как видите, одна лишняя кража ему не в счет. И добро бы он только воровал! Но он совершил несколько убийств, одно ужаснее другого.

– Как его зовут?

– В Андалусии он известен как Хосе Наварро, но у него есть еще другое, баскское имя, которое нам с вами ни за что не произнести. И знаете что? На этого человека стоит взглянуть. Раз вы интересуетесь здешними нравами, не упускайте случая: узнаете по крайней мере, как у нас, в Испании, негодяев отправляют на тот свет. Он – в часовне, отец Матинес проводит вас туда.

Доминиканец так настаивал, чтобы я увидел приготовления к «карошенький маленький пофешенья», что мне не удалось отказаться. Словом, я отправился к заключенному, захватив с собой пачку сигар, которые, как я надеялся, оправдают мое вторжение в его глазах.

Меня ввели к дону Хосе, когда он обедал. Он холодно кивнул мне и вежливо поблагодарил за подарок. Пересчитав сигары, которые я вручил ему, он отложил несколько штук и вернул остальные, заметив, что так много ему не потребуется.

Я спросил, не могу ли я с помощью денег или связей хоть немного смягчить его участь. Сперва он лишь пожал плечами и грустно улыбнулся, но, спохватившись, попросил меня заказать мессу за упокой его души.

– Не согласитесь ли вы, – добавил он нерешительно, – не согласитесь ли заказать вторую мессу за упокой души некоей особы, вас оскорбившей?

– Разумеется, дорогой мой, – ответил я, – однако, насколько мне известно, никто не оскорблял меня в этой стране.

Он взял мою руку и пожал ее; лицо его было серьезно.

– Дерзну ли я попросить вас об одном одолжении? Возвращаясь к себе на родину, вы, вероятно, проедете через Наварру; во всяком случае, вы проедете через Виторию, а оттуда до Памплоны не слишком далеко.

– Конечно, я проеду через Виторию, – сказал я, – и, вероятнее всего, заверну в Памплону: ради вас я охотно сделаю этот крюк.

– Так вот, если вы будете в Памплоне, то увидите там много для себя интересного... Это красивый город... Я дам вам образок (он показал мне серебряный образок, висевший у него на груди), вы завернете его в бумагу... – Он на мгновение умолк, стараясь побороть волнение, – и передадите его или велите передать пожилой женщине, адрес которой я вам сообщу. Вы скажете ей, что я умер, но не скажете, какой смертью.

Я обещал исполнить его поручение. На следующее утро я снова пришел к нему и провел с ним несколько часов. Из его уст я и услышал печальную повесть, которую вы здесь прочтете.

Глава 3

– Я родился в Элисондо, – сказал он, – что в Бастанской долине. Зовут меня дон Хосе Лисаррабенгоа; вы достаточно хорошо знаете Испанию, сеньор, чтобы определить по этому имени, что я баск и принадлежу к старинной христианской семье. Если, говоря о себе, я употребляю частицу «дон», то имею на это право, и, будь мы с вами в Элисондо, я показал бы вам свою родословную, записанную на пергаменте. Родители пожелали, чтобы я стал священником, и отправили меня учиться, но наука не пошла мне впрок. Я слишком любил жёдепом, и это погубило меня. Стоит нам, наваррцам, увлечься этой игрой, как мы забываем обо всем на свете. Однажды, когда я был в выигрыше, один алавский парень затеял со мной ссору, мы взялись за *maquilas*^[10], и снова перевес оказался на моей стороне... но после этого мне пришлось покинуть родной край. В дороге мне повстречались драгуны, и я вступил в Альманский кавалерийский полк. Нашим горцам легко дается военное дело. Вскоре я стал бригадиром. Меня ожидало производство в сержанты, но, на свою беду, я был назначен в караул на севильскую табачную фабрику. Если вы бывали в Севилье, то, верно, видели это большое здание по ту сторону крепостной стены, на берегу Гуадалкивира. У меня до сих пор стоят перед глазами ворота фабрики и кордегардия возле них. В карауле испанские солдаты спят или играют в карты; но, как истый наваррец, я всегда старался подыскать себе какое-нибудь занятие. В тот день я мастерил из латунной проволоки цепочку для своей иглы, иначе говоря, для затравника. Слышу, товарищи говорят: «Колокол зазвонил, скоро девчонки вернутся на работу». Надо вам сказать, сеньор, что на этой фабрике работают по меньшей мере четыреста-пятьсот женщин. Они свертывают сигары в большой зале, куда мужчины допускаются лишь с разрешения *вейнтикуатро*^[11], ибо работницы снимают с себя все лишнее, особенно молодые, когда бывает жарко. На пути работниц, возвращающихся после обеда, постоянно толпятся городские парни и всячески обхаживают их. Редко кто из этих сеньорит устоит перед тафтяной мантилей, и любителям подобной ловли стоит лишь протянуть руку, чтобы подцепить облюбованную ими рыбку. Пока остальные солдаты таращили глаза, я по-прежнему думал о родном крае, и мне казалось, что девушка не может быть красива без синей юбки и без кос, ниспадающих на плечи^[12]. К тому же андалуски пугали меня; я еще не успел свыкнуться с их повадками: нет у них никакой серьезности – одно

зубоскальство. Итак, я сидел, уткнувшись носом в работу, и вдруг услышал, что городские парни говорят: «Цыганочка идет!» Я поднял глаза и увидел ее. Была пятница, никогда не забуду этого дня. Я увидел ту самую Кармен, с которой мы встретились с вами несколько месяцев тому назад.

На ней была красная очень короткая юбка, из-под которой виднелись белые шелковые чулки в дырах, а на ногах хорошенькие сафьяновые туфельки с огненными лентами вокруг щиколотки. Она откинула мантилью, чтобы видны были ее плечи и большой букет белой акации, заткнутый за вырез сорочки. Во рту у нее тоже был цветок акации, и шла она, поводя бедрами, точно молодая кордовская кобылица. У меня на родине люди осеняли бы себя крестным знаменем при виде женщины в таком наряде. А в Севилье мужчины осыпали ее двусмысленными комплиментами; она всем отвечала, подбоченясь и стреляя глазками, бесстыжая, как настоящая цыганка. Сперва она мне не понравилась, и я снова принялся за работу; но по обычаю женщин и кошек, которые не подходят, когда их зовут, и приходят, когда их не звали, она остановилась передо мной.

– Куманек, – обратилась она ко мне на андалусский лад, – подари мне свою цепочку, я буду носить на ней ключи от моего несгораемого шкафа.

– Цепочка нужна мне вот для этой иглы, – ответил я.

– Для иглы! – воскликнула она, расхохотавшись. – Видно, сеньор изготавливает кружева, раз ему требуется игла!

Кругом засмеялись; я почувствовал, что краснею, и ничего не сумел ей ответить.

– Сердце мое! – продолжала она. – Изготовь мне семь локтей черных кружев на мантилью, любезный мой мастер!

И, взяв цветок белой акации, который был у нее во рту, она так ловко щелкнула по нему, что попала мне в лоб между самых глаз. Сеньор, мне показалось, будто меня поразила пуля. Я окончательно растерялся и продолжал сидеть на месте, как истукан. Когда Кармен скрылась в дверях фабрики, я заметил ее цветок на земле, у своих ног; не знаю, что на меня нашло: я поднял его тайком от товарищей и бережно положил в карман куртки. Первая глупость!

Часа через два, когда я все еще думал обо всем этом, в кордегардию прибежал запыхавшийся солдат с перекошенным от волнения лицом. По его словам, в большой зале фабрики была убита женщина и туда требовалось послать караульных солдат.

Сержант приказал мне взять двух подчиненных и посмотреть, что там случилось. Беру солдат и иду наверх. Представьте себе, сеньор: войдя в

залу, я вижу прежде всего человек триста женщин чуть ли не в одних рубашках, и все они размахивают руками, орут, визжат, словом, поднимают такой шум, что он вполне заглушил бы раскаты небесного грома. В сторонке лежит вверх тормашками, вся в крови, какая-то девица с изрезанным лицом. Напротив раненой, окруженной наиболее сердобольными работницами, стоит Кармен, которую держат пять женщин. Раненая кричала: «Священника, священника! Умираю!» Кармен молчала, она стиснула зубы и вращала глазами, как хамелеон. «В чем дело?» – спросил я. Мне стоило большого труда узнать, что произошло, так как на мой вопрос все работницы отвечали разом. Оказывается, изуродованная девица похвасталась, будто у нее столько карманных денег, что она может купить осла на трианском рынке. «Неужто? – возразила Кармен, которая была остра на язык. – Так, значит, тебе мало твоей метлы?» Противница, задетая за живое, так как была, видно, не без греха, ответила, что она не знает толка в метлах, не имея чести быть цыганкой и крестницей сатаны, но что сеньорита Кармен скоро познакомится с этим самым ослом, когда сеньор коррехидор повезет ее кататься на нем с двумя лакеями позади, чтобы отгонять от нее мух. «А я, – сказала Кармен, – сделаю из твоих щек мухоловки, распишу их в красно-белую клетку»^[13]. И тут же – раз-два – принялась чертить ножом, которым обрезают кончики сигар, андреевские кресты на лице несчастной.

Все было ясно; я взял Кармен за руку повыше локтя и вежливо сказал ей: «Сестричка, придется тебе пойти со мной». Она взглянула на меня так, словно узнала, и смиренно проговорила: «Ну что ж, идем. Где моя мантилья?» Она покрыла ею голову, оставив на виду лишь один огромный глаз, и пошла за моими людьми, кроткая, как овечка. Когда мы явились в кордегардию, сержант сказал, что случай серьезный и надо отправить арестованную в тюрьму. Отвести ее было снова приказано мне. Я поставил ее между двух драгун, сам встал позади, как это и полагается в таком деле бригадиру, и мы двинулись в путь. Сперва цыганка молчала, но на Змеиной улице – вам ведь знакома эта улица, она такая извилистая, что вполне заслуживает своего названия, – словом, на Змеиной улице цыганка сбрасывает мантилью на плечи, чтобы видно было ее обольстительное личико, и, украдкой, обернувшись ко мне, спрашивает:

– Сеньор офицер, куда вы меня ведете?

– В тюрьму, бедная девочка, – отвечаю я как можно мягче: именно так хороший солдат должен обходиться с арестованными, в особенности с женщинами.

– Увы! Что станет со мной? Сеньор полковник, пожалейте меня. Вы

такой молодой, такой милый! – И, понизив голос, просит: – Дайте мне убежать, я подарю вам кусок *bar lachi*, и все женщины будут любить вас.

Bar lachi, сеньор, это магнит, с помощью которого, по словам цыган, можно производить всевозможные заклинания, если, конечно, умеешь пользоваться им. Дайте выпить любой женщине стакан белого вина со щепоткой толченого магнита, и она не устоит перед вами.

Я ответил ей как можно строже:

– Мы здесь не для того, чтобы болтать всякий вздор. Придется отправить тебя в тюрьму. Ничего не поделаешь – таков приказ.

Мы, уроженцы страны басков, выговариваем слова иначе, чем испанцы, которые легко узнают нас по произношению; зато ни один из них не сумеет правильно произнести *bai jaona*^[14]. Вот почему Кармен сразу смекнула, что я родом из Провинций. Вы сами знаете, сеньор, что у цыган нет родины, что они вечно кочуют, говорят на разных языках и в большинстве своем чувствуют себя как дома в Португалии, во Франции, в Провинциях, словом, повсюду; они уживаются даже с маврами и англичанами. Кармен довольно хорошо говорила по-баскски.

– *Laguna, ene bihotsarena*, друг души моей, – неожиданно обратилась она ко мне, – мы, видно, с тобой земляки?

Наш язык так прекрасен, сеньор, что сердце у нас сжимается, когда мы слышим его на чужбине... Мне хотелось бы исповедаться священнику из Провинций, – заметил разбойник, понизив голос.

Помолчав, он вернулся к своему рассказу.

– Я из Элисондо, – ответил я ей по-баскски, растроганный тем, что она говорит на моем родном языке.

– А я из Этчалара, – сказала она, – это в четырех часах пути отсюда. Цыгане увели меня с собой в Севилью. А на фабрике я работала для того, чтобы собрать немного денег и вернуться в Наварру к моей бедной матушке, у которой никого и ничего нет, кроме меня да маленького *barratcea*^[15] с двадцатью яблонями; из яблок она готовит сидр. Как бы мне хотелось быть дома у подножия белой горы! Меня оскорбили, потому что я не из этого края жуликов и торговцев гнилыми апельсинами; мерзавки с фабрики накинулись на меня за то, что я сказала им правду: все их севильские *jacques*^[16], вооруженные ножами, не испугали бы одного нашего молодца в синем берете и с макилой в руке. Товарищ, друг мой, неужто вы ничего не сделаете для землячки?

Она лгала, сеньор, она всегда лгала. Не знаю, сказала ли эта женщина за всю свою жизнь хоть слово правды; но, когда она говорила, я верил ей:

это было сильнее меня. Она коверкала баскские слова, а я верил, будто она наваррка; и глаза ее, и рот, и цвет лица – все говорило о том, что она цыганка. Но я потерял голову и уже ничего не видел. Я подумал, что, если бы испанцы посмели дурно отозваться о моем родном крае, я изрезал бы им лицо, в точности как она – своей товарке. Словом, я был точно пьяный: я уже начал болтать глупости и готов был их натворить.

– А что, если я вас толкну и вы упадете, земляк? – продолжала она по-баскски. – Этим двум кастильским олухам нипочем меня не поймать...

Ей-богу, я забыл присягу, забыл обо всем на свете и сказал ей:

– Ну что ж, землячка, подружка милая, попробуйте – и да поможет вам божья мать горская!

Мы как раз проходили мимо одной из узеньких улочек, которых так много в Севилье. Вдруг Кармен оборачивается и ударяет меня кулаком в грудь. Я нарочно падаю навзничь. Одним махом она перепрыгивает через меня и пускается наутек, показывая нам пару ножек – и каких!.. Хвалят ножки баскских женщин, но таких, как у нее, надо было поискать... и быстрые, и стройные. Я тотчас же вскакиваю, беру пикку^[17] наперевес, перегораживая тем самым улочку, и поначалу задерживаю своих подчиненных, собравшихся было в погоню. Затем я сам побежал, и они вслед за мной. Но догнать ее? Какое там! С нашими шпорами, саблями, пиками. Беглянка скрылась скорее, чем я успел рассказать вам об этом. Да и местные кумушки способствовали ее бегству: они потешались над нами, посылали нас по ложному следу. После нескольких маршей и контрмаршей нам пришлось вернуться в кордегардию без расписки начальника тюрьмы.

Из страха перед наказанием мои люди заявили, что Кармен разговаривала со мной по-баскски, да и, по правде сказать, трудно было поверить, чтобы молоденькая девчонка могла опрокинуть ударом кулака такого здорового парня, как я. Все это было подозрительно или, точнее, вполне ясно. После смены караула меня разжаловали и отправили на месяц в тюрьму. Это было мое первое наказание с тех пор, как я поступил на военную службу. Пришлось проститься с нашивками сержанта, которые я уже видел на своем мундире.

Первые дни заключения были весьма тягостны для меня. Я воображал, когда стал солдатом, что дослужусь по меньшей мере до офицерского чина. Носят же звание капитан-генералов мои соотечественники Лонга и Мина; Чапалангарра, «черный», как и Мина, нашедший по его примеру убежище в нашем краю, был полковником, и я много раз играл в жёдепом с его братом, бедняком вроде меня. Я говорил себе: «Вся твоя безупречная служба пошла прахом. Теперь ты на дурном счету, и, чтобы вернуть доверие начальства,

тебе придется работать в десять раз больше, чем когда ты был новобранцем! И ради кого ты навлек на себя наказание? Ради плутовки-цыганки, которая насмеялась над тобой и в эту самую минуту, верно, ворует где-нибудь в городе». Но я не мог отогнать мысли о ней. Поверите ли, сеньор, ее дырявые шелковые чулки, которые были видны снизу доверху, когда она удирала, так и стояли у меня перед глазами. Я смотрел на улицу сквозь тюремную решетку и среди всех проходящих женщин не видел ни одной, которая могла бы сравниться с этой чертовкой. И помимо воли я подносил к лицу цветок акации, тот самый, что она бросила мне в лицо: ведь даже засохший, он хранил свой сладостный аромат... Если на свете существуют колдуньи, то колдуньей была и эта девчонка!

Однажды входит тюремщик и передает мне алькалинский хлебец^[18]. «Вот, возьмите, – говорит он, – это от вашей двоюродной сестры».

Я удивился – в Севилье у меня не было родственников, – но все же взял гостинец. «Верно, какая-нибудь ошибка», – подумал я, разглядывая хлебец, но он был такой аппетитный, от него так вкусно пахло, что я не стал раздумывать, откуда он и кому предназначен, и собрался его съесть. Но когда я попробовал разрезать его, нож мой наткнулся на что-то твердое. Смотрю и нахожу запеченный в тесте английский напильник, затем золотую монету и два пиастра. Все мои сомнения рассеялись – это был подарок Кармен. Для людей ее племени свобода превыше всего, и они готовы поджечь город, лишь бы и дня не просидеть в тюрьме. К тому же девчонка была хитрой бестией, и с этим хлебцем я вполне мог натянуть нос тюремщикам. Напильником я перепилил бы за один час самый толстый прут решетки, а за два пиастра обменял бы у любого старьевщика свою шинель на штатское платье. И можете мне поверить, что человек, который у себя на родине много раз лазал по скалам в поисках орлиных гнезд с птенцами, без труда спустился бы из окна на улицу с высоты каких-нибудь тридцати футов. Но я не хотел бежать; я еще не утратил своей воинской чести, и дезертирство казалось мне величайшим преступлением. Меня все же тронул этот знак внимания. Когда сидишь в тюрьме, приятно думать, что на воле у тебя есть друг, который принимает в тебе участие. Золотая монета невольно смущала меня, и я с радостью вернул бы ее, но как найти моего кредитора? Это казалось мне делом нелегким.

После церемонии разжалования я полагал, что страданиям моим пришел конец, но мне предстояло испытать еще одно унижение; это случилось по выходе моем из тюрьмы, когда меня назначили на дежурство и поставили часовым как простого солдата. Вы не представляете себе, что чувствует в таком положении самолюбивый человек. Мне кажется, я

предпочел бы тогда расстрел. По крайней мере идешь один впереди взвода; чувствуешь себя человеком; все на тебя смотрят.

Я стоял на часах у дверей нашего полковника. Это был богатый молодой человек, весельчак и славный малый. У него собрались все наши молодые офицеры, а также множество штатских, были также и женщины, актрисы, как говорили. А мне чудилось, что весь город съехался к этому дому, чтобы поглазеть на меня. Но вот подкатил экипаж полковника с его денщиком на козлах. И кто же выходит из него? Моя цыганочка. Разукрашена, как богородица, напوماжена, расфуфырена, вся в золоте и лентах. Платье в блестках, голубые туфельки тоже в блестках, повсюду цветы, кружева. В руке – баскский бубен. С нею – две цыганки, молодая и старая (молодых всегда сопровождает какая-нибудь старуха), а также старик, тоже цыган, с гитарой, под звуки которой они пляшут. Вы сами знаете, что цыганок часто приглашают в общество, где они исполняют свой национальный танец *ромалис*, а также и другие пляски.

Кармен узнала меня, и мы обменялись взглядами. Право, в ту минуту я готов был провалиться сквозь землю.

– *Agur laguna*^[19], – сказала она. – Сеньор офицер, да ты стоишь в карауле, как новобранец!

И прежде, нежели я нашел что ответить, она скрылась в доме.

Все общество собралось в патио, и, несмотря на множество гостей, я видел сквозь решетку^[20] почти все, что там происходило. Я слышал щелканье кастаньет, звон бубна, смех и крики «браво»; иной раз я замечал ее головку, когда она подпрыгивала с бубном в руке. Слышал я и голоса офицеров, которые говорили ей такое, что краска бросалась мне в лицо. Ее ответы терялись в общем шуме. Думается, что с этого дня я полюбил ее по-настоящему, так как мне не раз хотелось войти в патио и всадить саблю в живот тем ветрогонам, что волочились за ней. Пытка моя продолжалась добрый час; затем цыгане вышли на улицу, где их ожидала коляска. Проходя мимо, Кармен опять посмотрела на меня своим особенным взглядом – я говорил вам о нем – и сказала очень тихо:

– Земляк, тот, кто любит хорошо поджаренную рыбу, идет в Триану, к Лильясу Пастье.

Легкая, как козочка, она вскочила в коляску, кучер стегнул мулов, и веселая компания укатила.

Нетрудно догадаться, что после смены караула я отправился в Триану, но перед этим побрился и почистился, словно шел на парад. Она была уже у Лильяса Пастья, старого цыгана, черного, как мавр, в кабачок которого

приходило немало горожан, чтобы отведать его жареной рыбы, в особенности с тех пор, как там обосновалась Кармен.

– Лильяс! – обратилась она к старику, увидев меня. – Сегодня я ничего не стану делать. «И завтра тоже будет день»^[21]. Идем, земляк, идем гулять.

Она накинула мантилью под носом у Лильяса, и я очутился на улице, сам не зная, куда мы идем.

– Сеньорита! – сказал я. – Мне кажется, я должен поблагодарить вас за подарок, который получил в тюрьме. Хлебец я съел, напильник пригодится мне, чтобы затачивать пику, и я его сохраню на память о вас. А деньги – вот они.

– Что это?! – воскликнула, хохоча, Кармен. – Он сберег золотой! Тем лучше: сегодня я не при деньгах. Э, плевать! «Собака бродит, кость находит»^[22]. Давай прокутим все, что у нас есть. Ты меня угощаешь!

Мы отправились обратно в Севилью; свернув на Змеиную улицу, она купила дюжину апельсинов и велела мне завязать их в платок. Немного дальше она купила хлеба, колбасы и бутылку мансанильи, после чего зашла к кондитеру. Она бросила на его прилавок золотую монету, которую я вернул ей, затем вынула из кармана другой золотой и немного мелочи; наконец попросила у меня всю мою наличность. У меня оказались всего-навсего несколько куарто и песета, которые я и отдал ей, стыдясь, что денег так мало.

Я думал, она унесет с собой всю лавку. Она покупала самые вкусные, самые дорогие сласти – *uemas*^[23], *turons*^[24], засахаренные фрукты, – пока не истратила всех денег. И опять-таки мне пришлось нести все это в бумажных мешочках. Вы, верно, знаете улицу Кандилехо с головой короля дона Педро Справедливого^[25]? При виде ее мне следовало бы призадуматься. На этой улице мы остановились у какого-то старого дома. Кармен вошла в крытый проход и постучала. Дверь отворила цыганка, сущая прислужница дьявола. Кармен сказала ей несколько слов на *роммани*. Старуха принялась было ворчать. Чтобы задобрить ее, Кармен дала ей два апельсина, пригоршню конфет и позволила отведать вина. Затем набросила ей на плечи накидку и выпроводила за дверь, которую тут же заперла на деревянный засов. Как только мы остались одни, она принялась плясать и хохотать, как безумная, напевая: «Ты мой гот, я твоя *romi*»^[26]. А я между тем стоял посреди комнаты, нагруженный покупками, и не знал, что с ними делать. Она все побросала на пол и кинулась мне на шею со словами: «Я плачу тебе свой долг! Таков наш закон, закон *calés*»^[27]. Ах, сеньор, что это был за день!.. Вспоминая все это, я забываю о том, что

будет завтра.

Разбойник ненадолго умолк; затем, раскурив сигару, продолжал свой рассказ:

– Мы провели вместе весь день, ели, пили и все прочее. Наевшись конфет, как шестилетний ребенок, Кармен пригоршнями побросала остальные в кувшин с водой. «Это старухе на шербет», – говорила она. «А это угощение для мух, пусть оставят нас в покое», – говорила она, кидая об стену засахаренные желтки. Каких только шуток, дурачеств она не придумывала! Я сказал, что мне хочется видеть ее пляски. Но где взять кастаньеты? Она тотчас же берет единственную тарелку старухи, разбивает ее и вот уже отплясывает *ромалис*, щелкая кусками фаянса не хуже, чем кастаньетами из черного дерева или слоновой кости. Поверьте, с этой девчонкой нельзя было соскучиться. Настал вечер, и я услышал звуки барабанов, бьющих зорю.

– Мне пора в казарму, на перекличку, – сказал я.

– В казарму? – переспросила она презрительно. – Разве ты негр, чтобы ходить по струнке? Ты настоящая канарейка – и одеждой^[28], и нравом. Ну, а сердце у тебя цыплячье!

Я остался, заранее смирившись с мыслью о гауптвахте. Наутро она первая заговорила о том, чтобы нам расстаться.

– Послушай, Хосеито, я с тобой расплатилась, ведь так? По нашему закону, я ничем тебе не обязана, потому что ты *паильо*, но ты малый красивый, и ты мне приглянулся. Мы квиты. Прощай.

Я спросил, когда мы снова увидимся.

– Когда ты чуточку поумнеешь, – ответила она, смеясь, и продолжала уже серьезно: – Знаешь, сынок, мне кажется, я немножко тебя полюбила. Но продолжаться это не может. Волку с собакой не ужиться. Если бы ты принял цыганский закон, я, быть может, и согласилась стать твоей *роми*. Но все это чепуха: такого не бывает. Поверь мне, мальчик, ты дешево отделался. Ты встретил дьявола, да, дьявола – он не всегда бывает черен, – и он не свернул тебе шеи. «Хоть я в шерсти хожу, но нравом не в овцу»^[29]. Ступай, поставь свечку своей *Majari*^[30]; она это заслужила. Ну, прощай еще раз. Не думай больше о Карменсите, не то она женит тебя на вдове с деревянными ногами^[31].

Говоря так, она отодвинула дверной засов, на улице закуталась в мантилью и была такова.

Кармен сказала правду. Было бы куда разумнее выкинуть ее из головы, но после того дня на улице Кандилехо я не мог думать ни о ком и ни о чем

другом. Я день-деньской шатался по городу в надежде ее встретить. Я справлялся о ней у старухи и у торговца жареной рыбой. Оба говорили, что она уехала в Laloro^[32], иными словами, в Португалию. Видно, отвечать так им велела Кармен, и я вскоре убедился, что они мне лгали. Некоторое время спустя после нашего свидания на улице Кандилехо я стоял на часах у городских ворот. Неподалеку от них в крепостной стене образовался пролом; днем там шли работы, а ночью стоял часовой, чтобы преграждать путь контрабандистам. Я заметил накануне, что около кордегардии околачивается Лильяс Пастья и заговаривает кое с кем из солдат; все они знали цыгана, а его рыбу, оладьи и подавно. Подойдя ко мне, он спросил, нет ли у меня вестей от Кармен.

– Нет, – ответил я.

– Ну так скоро получите, куманек.

Он не ошибся. В ту же ночь меня поставили охранять пролом. Как только бригадир ушел, я увидел приближающуюся женщину. Сердце подсказало мне, что это Кармен. Однако я крикнул:

– Прочь отсюда! Прохода нет!

– Полно, не надо сердиться, – проговорила она, открывая свое лицо.

– Как! Это вы, Кармен?

– Да, земляк. Но ближе к делу. Хочешь заработать дуру? Сюда придут люди с поклажей, пропусти их.

– Пропустить их? Нет, не могу – таков приказ, – ответил я.

– Приказ! Приказ! Ты и думать забыл о приказах на улице Кандилехо.

– Ах, тогда, – проговорил я, до глубины души взволнованный этим воспоминанием, – тогда стоило забыть о приказе. Но мне не нужны деньги контрабандистов.

– Ладно, ты не хочешь денег, но тебе, может, захочется еще раз пообедать со мной у старухи Доротеи?

– Нет, не могу, – ответил я, едва не задохнувшись от усилия, которое мне пришлось сделать над собой.

– Отлично. Раз ты такой привередливый, я знаю, к кому обратиться. Я предложу сходить к Доротее вашему офицеру. Он, видно, славный малый и поставит на часы молодчика, который увидит не больше того, что потребуется. Прощай, канарейка! Уж и посмеюсь я, когда выйдет приказ тебя повесить.

Я малодушно окликнул Кармен и обещал ей пропустить, если понадобится, весь цыганский табор, лишь бы получить единственную желаемую мною награду. Она тут же поклялась, что сдержит слово не позже следующего дня, и побежала предупредить своих приятелей,

которые находились в двух шагах от нас. Их было пятеро, в том числе и Пастья, все тяжело нагруженные английскими товарами. Кармен стояла на страже. Она должна была щелкнуть кастаньетами, как только увидит дозор, но этого не потребовалось. Контрабандисты мигом управились с делом.

На следующий день я пришел на улицу Кандилехо. Кармен заставила себя ждать и явилась в прескверном расположении духа.

– Не люблю людей, – сказала она, – которых приходится упрашивать. В первый раз ты оказал мне услугу поважнее и сделал это без всякой корысти. Вчера ты торговался со мной. Сама не знаю, зачем я пришла: я не люблю тебя больше. Знаешь что, убирайся отсюда, вот тебе дура за труды.

Я чуть не бросил ей монету в лицо и с огромным трудом сдержался, чтобы не поколотить ее. После перебранки, длившейся битый час, я ушел вне себя от гнева. Некоторое время я, как безумный, бродил по городу; наконец я вошел в церковь и, забившись в самый темный ее угол, горько заплакал. Вдруг слышу голос:

– Слезы драгуна что слезы дракона! Я сделаю из них приворотное зелье.

Поднимаю глаза: передо мной Кармен.

– Ну как, земляк, вы все еще сердитесь на меня? – спросила она. – Я, видно, люблю вас вопреки своему желанию, потому что хожу сама не своя с тех пор, как вы ушли. Ну вот, а теперь уже я спрашиваю тебя: пойдешь со мной на улицу Кандилехо?

Итак, мы помирились; но нрав у Кармен был что погода в нашем краю. У нас в горах гроза тем ближе, чем ярче светит солнце. Она обещала мне еще раз повидаться у Доротеи и не пришла. А Доротея продолжала твердить, что Кармен отправилась в *Лалоро* по цыганским делам.

Зная по опыту, что это не так, я искал Кармен всюду, где она имела обыкновение бывать, и раз двадцать в день проходил по улице Кандилехо. Как-то вечером я был у Доротеи, которую мне удалось приручить, поднося ей при встрече стаканчик-другой анисовки, как вдруг туда вошла Кармен в сопровождении молодого человека, лейтенанта нашего полка.

– Уходи, да поживее, – сказала она мне по-баскски.

Я остолбенел, ярость переполнила мое сердце.

– Что ты тут делаешь? – спросил лейтенант. – Убирайся!

Я не мог сделать ни шага: ноги мои словно приросли к полу. Видя, что я не только не собираюсь уйти, но даже не снял фуражки, разгневанный офицер схватил меня за шиворот и грубо встряхнул. Не помню, что я сказал ему. Он выхватил саблю, я последовал его примеру. Старуха вцепилась в мою руку, и лейтенант нанес мне удар по голове, от которого у меня до сих

пор виден шрам. Я попятился и локтем опрокинул Доротею; но, видя, что лейтенант продолжает наступать, я сперва уколол, а затем пронзил его саблей. Кармен тут же потушила лампу и на своем языке велела Доротее спастись бегством. Я тоже выскочил на улицу и побежал, сам не зная куда. Мне казалось, что кто-то гонится за мной. Опомнившись, я увидел, что Кармен не оставила меня.

– Ты круглый дурак, канарейка! – сказала она. – Делаешь одни глупости. Недаром я говорила, что принесу тебе несчастье. А впрочем, ничто не потеряно, когда имеешь подружкой *Flamenco de Roma*^[33]. Прежде всего повяжи голову вот этим платком и брось портупею. Подожди меня здесь, в проходе. Я мигом вернусь.

Она исчезла и вскоре принесла мне полосатый плащ, неизвестно где раздобытый ею. Она велела мне снять мундир и накинуть плащ поверх рубашки. В таком виде да еще с платком на голове, которым она повязала мою рану, я стал похож на одного из тех валенсийских крестьян, которые привозят на продажу в Севилью оршад из *chufas*^[34]. Затем она отвела меня в какой-то дом в глубине тупичка, очень похожий на дом Доротеи. Вдвоем с незнакомой мне цыганкой они лучше всякого хирурга промыли и перевязали мою рану, дали мне чего-то выпить и наконец уложили на тюфяк; я сразу уснул.

Вероятно, к питью было примешано какое-нибудь зелье, секретом приготовления которого владеют цыганки, потому что я проснулся очень поздно на следующий день. У меня сильно болела голова и был небольшой жар. Прошло несколько минут, прежде чем в памяти моей всплыла страшная сцена, в которой я принял участие накануне. Перевязав мою рану, Кармен и ее приятельница сели на корточки возле меня и посоветовались о чем-то на *чипе кальи*: то была, видимо, врачебная консультация. После чего они уверили меня, что я скоро поправлюсь, но должен как можно скорее бежать из Севильи: если меня здесь поймают, мне не миновать расстрела.

– Вот что, мой мальчик, – сказала мне Кармен, – тебе надо найти какое-нибудь занятие. Раз ты больше не получаешь от короля ни риса, ни сушеной трески^[35], придется подумать о том, как заработать себе на жизнь. Ты слишком глуп, чтобы воровать а *pastesas*^[36], но ты ловок и силен; если у тебя достанет смелости, отправляйся на побережье и становись контрабандистом. Разве я не обещала привести тебя на виселицу? Это все же лучше, чем расстрел. Впрочем, если ты с умом возьмешься за дело, то будешь жить, как вельможа, пока *миньоны*^[37] и стражники береговой охраны не сцапают тебя.

Вот в каком заманчивом свете эта чертовка обрисовала мое новое поприще, единственное, по правде сказать, которое мне оставалось, коль скоро я подлежал смертной казни. И знаете, сеньор? Она уговорила меня без особого труда. Мне казалось, что эта беспокойная жизнь, эта жизнь вне закона свяжет нас еще теснее. Я полагал, что сумею отныне удержать ее любовь. Я не раз слышал о контрабандистах, которые разъезжают по Андалусии с мушкетеном в руке и с возлюбленной на крупе своего коня. И мне уже чудилось, что я скачу по горам и долам с хорошенькой цыганочкой позади себя. Когда я заговаривал с ней об этом, она хохотала до упаду и отвечала, что нет ничего лучше ночи, проведенной на воле, когда каждый ром уходит со своей *ром* в маленькую палатку из трех обручей, покрытых одеялом.

– Если мы уйдем с тобой в горы, – говорил я ей, – я буду уверен в тебе: там нет лейтенантов, с которыми мне пришлось бы делить тебя.

– А, ты ревнив! Тем хуже для тебя. Неужто ты настолько глуп? Не видишь разве, что я люблю тебя, ведь я ни разу не попросила у тебя денег?

Когда я слышал от нее такие речи, мне хотелось ее задушить.

Короче говоря, сеньор, Кармен достала мне штатское платье, и в нем я, никем не признанный, выбрался из Севильи. Я прибыл в Херес с письмом от Пастьи к некоему торговцу анисовкой, у которого собирались контрабандисты. Я был представлен этим людям, и главарь их, по прозвищу Данкайре, принял меня в свою шайку. Мы отправились все вместе в Гаусин, где меня ждала Кармен. В таких походах она служила нам лазутчиком, и лучшего лазутчика трудно было сыскать. Она только что прибыла из Гибралтара и уже успела уговориться с одним капитаном о погрузке на его судно английских товаров, которые мы должны были принять на берегу. В ожидании мы обосновались неподалеку от Эстепоны; затем, получив товары, часть их спрятали в горах и, нагруженные остальными, отправились в Ронду. Кармен выехала туда раньше нас. И опять-таки она дала нам знать, когда лучше всего пробраться в город. Эта первая поездка да и несколько других прошли удачно. Жизнь контрабандиста нравилась мне больше, чем жизнь солдата. Я делал подарки Кармен. У меня были деньги и любовница. Угрызения совести не мучили меня, ибо, по словам цыган, в любовных объятиях чесотка не свербит^[38]. Нас всюду принимали радушно, товарищи относились ко мне хорошо, они даже уважали меня, потому что я убил человека, а среди них далеко не у всех был на совести такой подвиг. Но особенно привлекала меня эта новая жизнь из-за того, что мы часто виделись с Кармен. Она была со мной ласковее, чем когда-либо, однако скрывала наши отношения от

остальных; она даже потребовала от меня всевозможных клятв в том, что я ни слова не скажу им о ней. Я был так слабодушен с этой женщиной, что потакал всем ее прихотям. К тому же в моем присутствии она впервые вела себя как порядочная женщина, и я думал в простоте душевной, будто она и в самом деле отказалась от своих прежних повадок.

Отряд наш, состоявший из восьми-десяти человек, собирался лишь для наиболее опасных дел, обычно же мы разбредались вдвоем или втроем по городам и селам. Все мы выдавали себя за ремесленников: один был жестянщиком, другой барышником, а я продавал вразнос всякий мелкий товар, но в больших городах не показывался из-за той скверной истории в Севилье. Как-то днем или, точнее, ночью все наши люди должны были собраться под Вехером. Мы с Данкайре пришли туда раньше других. Данкайре был чрезвычайно весел.

– Нашего полку прибыло, – сказал он, – Кармен только что отколола лучшую свою штуку. Вызволила своего *рома* из Тарифской крепости.

Я уже немного понимал по-цыгански, так как на этом языке говорили почти все мои товарищи, и слово *ром* меня ошеломило.

– Что? Своего мужа? Разве она замужем? – спросил я нашего главаря.

– А как же, – ответил он, – за цыганом Гарсией Кривым, таким же пройдохой, как и она сама. Бедный малый был приговорен к каторжным работам. Кармен так ловко оплела главного лекаря крепости, что добилась освобождения своего *рома*. Это золото, а не девка. Целых два года она пыталась устроить ему побег. Все было напрасно, пока не сменили врача. Видно, с новым она живо поладила.

Можете себе представить, какое удовольствие доставила мне эта новость. Вскоре я увидел и Гарсию Кривого. Это был самый отвратительный урод, когда-либо вскормленный цыганским племенем; черный лицом и еще чернее душой. Такого отъявленного негодяя я еще не встречал в жизни. Кармен пришла вместе с ним; видели бы вы, какие глазки она мне строила, называя его своим *ромом*, и какие гримасы корчила, едва только Гарсия отворачивался. Я был возмущен и за всю ночь не сказал ей ни слова. Утром мы навьючили наших мулов и уже двинулись в путь, как вдруг увидели человек десять всадников, которые преследовали нас по пятам. Бахвалы андалусцы, готовые на словах разгромить все и вся, сразу струхнули. Началось беспорядочное бегство. Не потеряли головы лишь Данкайре, Гарсия, красивый юноша из Эсхини по прозвищу Ремендадо и Кармен. Остальные побросали своих мулов и пустились наутек по лощинам, где всадники не могли их нагнать. Нам тоже пришлось пожертвовать вьючными животными, но мы поспешили снять с них

наиболее ценную кладь и взвалить ее себе на плечи; затем мы стали спускаться между скал по самым крутым откосам. Тюки мы кидали вниз, а сами кое-как следовали за ними, скользя на пятках. Тем временем неприятель обстреливал нас; я впервые слышал свист пуль, но не потерял хладнокровия. Впрочем, шутить со смертью в присутствии женщины не такая уж большая доблесть. Мы все остались целы и невредимы, кроме несчастного Ремендадо, раненного в поясницу. Я скинул свою поклажу и попробовал нести его.

– Болван! – крикнул мне Гарсия. – На кой нам эта пададь? Прикончи его да подбери бумажные чулки.

– Брось его! – твердила Кармен.

Усталость вынудила меня на минуту положить раненого под защитой скалы. Подошел Гарсия и разрядил ему в голову свой мушкетон.

– Пусть-ка теперь попробуют узнать его, – заметил негодяй, рассматривая лицо Ремендадо, изуродованное двенадцатью пулями.

Вот, сеньор, какую хорошенькую жизнь мне пришлось вести. К вечеру мы очутились в густом кустарнике, измученные, голодные и разоренные утратой наших мулов. Чем же занялся Гарсия, это исчадие ада? Он вытащил из кармана колоду карт и принялся играть с Данкайре при свете разведенного ими костра. А я лежал на спине, смотрел на звезды и думал о Ремендадо, говоря себе, что охотно оказался бы на его месте. Кармен сидела на корточках возле меня и время от времени щелкала кастаньетами. Потом, наклонясь, словно для того, чтобы пошептать со мной, она чуть ли не насильно целовала меня, и так раза два-три.

– Ты дьявол, – говорил я ей.

– Да, – подтверждала она.

Отдохнув несколько часов, она отправилась в Гаусин, и на следующий день мальчик козопас принес нам хлеба. Мы пробыли на одном месте целый день, а ночью подошли к Гаусину. Мы ждали вестей от Кармен. Вестей не было. На рассвете мы увидели гонщика мулов, который вез хорошо одетую женщину под зонтиком и девочку, по-видимому, ее служанку. Гарсия сказал нам:

– Вот два мула и две женщины, которых нам посылает святой Николай. Я предпочел бы четырех мулов. Ну да ладно! Я ими займусь.

Он схватил мушкетон и направился к тропинке, прячась за кустами. Мы с Данкайре шли за ним. Подойдя к путникам на расстояние выстрела, мы встали во весь рост и велели погонщику остановиться. Увидев нас, женщина, вместо того чтобы испугаться – вид у нас был устрашающий, – громко расхохоталась.

– Ну и *lillipendi!* Приняли меня за *eraci!*

Это была Кармен, но так искусно переряженная, что я никогда не узнал бы ее, заговори она по-другому. Она спрыгнула с мула и стала о чем-то тихо совещаться с Данкайре и Гарсией, затем обратилась ко мне:

– Канарейка! Мы еще увидимся с тобой до того, как тебя повесят. Я еду в Гибралтар по цыганским делам. Вы скоро услышите обо мне.

Мы расстались с ней, после того как она указала нам убежище, где нас могли приютить на несколько дней. Эта девчонка была сущим провидением нашего отряда. Вскоре мы получили от нее немного денег и, кроме того, нечто более ценное, а именно сообщение о том, что в такой-то день по такой-то дороге проедут из Гибралтара в Гранаду два английских милорда. Имеющий уши да слышит. У путешественников оказалось много полновесных гиней, Гарсия хотел было убить их, но мы с Данкайре помешали ему. Мы отобрали у них только деньги, часы да еще рубашки, которые нам были необходимы.

Да, сеньор, становишься мерзавцем, сам того не замечая. Хорошенькая девушка сводит тебя с ума, из-за нее ввязываешься в драку, случается несчастье, приходится жить в горах, и не успеешь опомниться, как из контрабандиста превращаешься в вора. Мы подумали, что после дела с милордами нам небезопасно оставаться вблизи Гибралтара, и ушли дальше в горы по направлению к Ронде. Вы как-то упомянули о Хосе Марии; в этих-то местах я и познакомился с ним. Он повсюду таскал с собой свою любовницу – премиленькую девушку, скромную, тихую, воспитанную: никогда ни одного грубого слова, и какая преданность!.. Зато и мучил же он ее! Бегал за всеми юбками, с ней обходился дурно, а иной раз ни с того ни с сего принимался ревновать. Однажды он ударил ее ножом. И что же? Она еще больше полюбила его после этого. Впрочем, все женщины таковы, особенно андалуски. Она даже гордилась этим шрамом у плеча и показывала его, словно драгоценность. Вдобавок Хосе Мария был прескверным товарищем!.. В одном деле он так ловко надул нас, что получил весь барыш, нам же достались побои и передряги. Но вернемся к моему рассказу. О Кармен не было ни слуху ни духу. И вот Данкайре говорит:

– Одному из нас придется отправиться в Гибралтар и разузнать о ней. Она подготовила, верно, какое-нибудь дельце. Я охотно взялся бы за это, но меня там слишком хорошо знают.

Кривой говорит:

– Меня тоже там знают, уж больно я насолил *ракам*^[39]. К тому же у меня всего один глаз, а этого никак не скроешь.

– Так, значит, мне ехать в Гибралтар? – говорю я, вне себя от радости при одной мысли, что увижу Кармен. – Скажите, что надо делать?

Оба говорят мне:

– Доберешься до Гибралтара морем или через Сан-Роке, выбирай сам, а когда будешь там, расспроси в порту, где живет торговка шоколадом по имени Рольона. Она-то и скажет тебе, как обстоят у них дела.

Было решено, что мы дойдем втроем до Гаусина, где я оставлю своих спутников, а сам отправлюсь в Гибралтар под видом торговца фруктами. Еще в Ронде некий преданный нам человек раздобыл мне паспорт; в Гаусине мне дали осла; я навьючил его апельсинами, дынями и двинулся в путь. В Гибралтаре я узнал, что Рольона там хорошо известна, но она либо умерла, либо отправилась *finibus terrae*^[40]. Видно, поэтому мы и потеряли связь с Кармен.

Я пристроил осла на чьей-то конюшне, взял свои апельсины и стал бродить по городу, как бы торгуя ими, а на самом деле в надежде увидеть хоть чье-нибудь знакомое лицо. В Гибралтаре множество всякого сброда, понаехавшего туда со всего света: это не город, а вавилонское столпотворение, ибо стоит пройти по его улицам каких-нибудь десять шагов, чтобы услышать столько же языков и наречий. Мне встречалось немало цыган, но я боялся им довериться; я приглядывался к ним, они приглядывались ко мне. Что мы с ними мерзавцы – нетрудно было догадаться, но важно было знать, одного ли мы толка. После двух дней бесплодных скитаний я ничего не узнал ни о Рольоне, ни о Кармен и, сделав кое-какие покупки, собрался было вернуться к товарищам, и вдруг, прогуливаясь по городу на закате солнца, услышал откуда-то сверху женский голос:

– Эй, разносчик!

Поднимаю голову и вижу Кармен; она стоит, облокотясь на перила балкона, рядом с ней офицер – красный мундир, золотые эполеты, завитые волосы, осанка настоящего милорда. Одета роскошно: золотой гребень, шаль на плечах, вся в шелку. И все же плутовка ничуть не изменилась: хохочет себе да и только. На ломаном испанском языке англичанин велит мне подняться: сеньора желает апельсинов. Кармен говорит мне по-баскски:

– Ступай наверх и ничему не удивляйся.

Впрочем, она ничем не могла меня удивить. Не знаю, испытал ли я больше радости или огорчения от встречи с ней. Дверь мне открыл высокий лакей-англичанин с пудренными волосами и ввел в великолепную гостиную. Кармен тотчас же обратилась ко мне по-баскски:

– Ты не говоришь по-испански, ты меня не знаешь.

И, обернувшись к англичанину, сказала:

– Я же говорила вам, что он баск, я сразу заметила. Услышите, какой это диковинный язык. Ну и глупый же вид у разносчика! Правда? Он похож на кота, пойманного в кладовке.

– А у тебя, – сказал я ей на своем родном языке, – вид наглой бестии; меня так и подмывает изуродовать тебе лицо в присутствии твоего дружка.

– Моего дружка? – переспросила она. – И ты сам до этого додумался? Неужто ты ревнуешь меня к этому болвану? Знаешь, ты стал еще глупее, чем до наших вечеров на улице Кандилехо. Разве ты не понимаешь, дурак ты эдакий, что я занимаюсь цыганскими делами, и не как-нибудь, а с блеском. Дом этот мой, и все гинеи *рака* перейдут ко мне; я вожу его за нос и заведу туда, откуда он никогда не вернется.

– Ну, а я живо отучу тебя от цыганских дел, если ты будешь заниматься ими таким манером.

– Как бы не так! Разве ты мой *ром*, чтобы помыкать мною? Раз Кривому это по душе, ты-то тут при чем? Будь доволен уже тем, что ты мой единственный *minchorro*^[41].

– Что он говорит? – спросил англичанин.

– Говорит, что ему хочется пить и он с радостью опрокинул бы стаканчик, – ответила Кармен.

И упала на диван, хохоча над своим переводом.

Когда эта девчонка смеялась, сеньор, не было никакой возможности удержаться от смеха. Все начинали смеяться вместе с ней. Верзила англичанин тоже расхохотался, как дурак, каким он и был, и приказал принести вина.

Пока я пил, Кармен спросила:

– Видишь перстень у него на пальце? Хочешь, я отдам тебе этот перстень?

– Я с удовольствием отдал бы палец, – ответил я, – лишь бы встретиться с твоим милордом в горах и чтоб у каждого из нас была в руке *макила*.

– *Макила*? Что это такое? – спросил англичанин.

– *Макила*, – ответила Кармен, по-прежнему смеясь, – это апельсин. Правда, забавное слово для апельсина? Он говорит, что охотно угостил бы вас *макилой*.

– Вот как? Ну что ж, пусть и завтра приносит свои *макила*.

Тут вошел лакей и доложил, что кушать подано. Англичанин встал, дал мне пиастр и предложил руку Кармен, словно она не могла идти сама. Все

еще смеясь, она сказала мне:

– Мой мальчик, я не могу пригласить тебя к обеду, но завтра, как только услышишь барабанный бой, приходи сюда со своими апельсинами. Увидишь, здесь спальня убрана куда лучше, чем на улице Кандилехо, и ты убедишься, что я по-прежнему твоя Карменсита. А затем мы потолкуем о цыганских делах.

Я ничего не ответил, а на улице снова услышал голос англичанина, кричавшего: «Приносите завтра свои *макила!*», и хохот Кармен.

Я ушел, сам не зная, как поступлю на следующий день. Я не спал всю ночь, а наутро меня взяла такая злость на изменницу, что я положил уехать из Гибралтара, не повидавшись с ней; но при первом же звуке барабанов решимости моей как не бывало: я схватил корзину с апельсинами и побежал к Кармен. Жалюзи в ее спальне было приоткрыто, и я увидел ее большой черной глаз, который высматривал меня. Пудренный лакей тотчас же провел меня к Кармен; она уснула его с каким-то поручением, и едва мы остались одни, как она разразилась своим жестоким смехом и бросилась мне на шею. Никогда я не видел ее такой красивой. Разукрашенная, как мадонна, надушенная... мебель, обитая шелком, вышитые занавески... А я среди всего этого – вор вором.

– *Минчорро!* – говорила Кармен. – Мне хочется все здесь перебить, поджечь дом и убежать в горы.

И нежности! И раскаты смеха!.. Она плясала, рвала оборки на своем платье: ни одна обезьянка не могла бы так скакать, гримасничать и куролесить. Угомонившись, она сказала:

– А теперь поговорим о цыганских делах. Я хочу, чтобы он отвез меня в Ронду: там у меня сестра в монастыре... (и снова покатила со смеху). Какой дорогой мы поедем, я узнаю позже и скажу тебе. Вы нападете на него и ограбите дочиста! Лучше всего было бы укокошить его, только знаешь что? – прибавила она с дьявольской усмешкой, которая иной раз мелькала у нее на губах, не вызывая, однако, ответной улыбки. – Пусть Кривой покажется первым. А вы оба держитесь позади. *Рак* ловок и смел, у него отличные пистолеты... Понимаешь?

Последовал новый взрыв смеха, от которого у меня по телу пробежали мурашки.

– Нет, – ответил я, – Гарсию я ненавижу, но он мой товарищ. Когда-нибудь я, возможно, избавлю тебя от него, только мы сведем свои счета по обычаю моей страны. Я лишь случайно стал цыганом, но в некоторых вещах я был и останусь, как говорят у нас, честным наваррцем^[42].

– Ты дурак, болван, настоящий *паильо!* Ты как тот карлик, что считал

себя великим, когда ему удавалось далеко плюнуть. Ты не любишь меня, убирайся!

Когда она говорила «убирайся», я не мог уйти. Я обещал ей уехать, присоединиться к остальным и ждать англичанина. А она обещала притвориться нездоровой до отъезда из Гибралтара в Ронду. Я пробыл еще два дня в Гибралтаре. Перерядившись, она отважилась прийти ко мне на постоялый двор. Я уехал, но у меня тоже был свой план. Я вернулся к товарищам, зная, где и когда проедет англичанин с Кармен. Данкайре и Гарсия ждали меня. Мы провели ночь в лесу у жаркого костра из сосновых шишек. Я предложил Гарсии сыграть в карты. Он согласился. За второй партией я заявил ему, что он плурует. Он засмеялся. Я швырнул ему карты в лицо. Он хотел было схватить мушкетон, но я вовремя наступил на дуло.

– Говорят, ты владеешь ножом, как настоящий малагский головорез, – сказал я, – хочешь поупражняться со мной?

Данкайре попытался нас разнять, но я успел раза два-три стукнуть Гарсию кулаком. От злости он расхрабрился. Он вытащил нож, я сделал то же. Мы велели Данкайре посторониться и не мешать нам. Он понял, что нас не остановишь, и отошел в сторону. Гарсия уже пригнулся к земле, как кот, готовый броситься на мышь. Шапку он держал в левой руке для защиты, нож выставил вперед. То была андалусская боевая стойка. Я же стал по-наваррски: лицо повернуто к противнику, левая рука поднята, левая нога выставлена вперед, нож возле правого бедра. Я чувствовал себя сильнее великана. Он стрелой кинулся на меня, но я повернулся на левой ноге, и он никого не нашел перед собой; зато я всадил ему нож так глубоко в горло, что рука моя оказалась у него под подбородком, и с такой силой повернул клинок, что тот сломался. Все было кончено. Клинок вышибло из раны струей крови толщиной в руку. Гарсия упал ничком, как подкошенный.

– Что ты наделал? – воскликнул Данкайре.

– Послушай, – сказал я, – жить вместе мы не могли. Я люблю Кармен и хочу быть один. К тому же Гарсия был мерзавцем, никогда не забуду, как он поступил с беднягой Ремендадо. Теперь нас только двое, но мы с тобой люди хорошие. Хочешь, я навек буду тебе другом?

Данкайре пожал мне руку. Это был человек лет пятидесяти.

– Да будут прокляты любовные шашни! – воскликнул он. – Если бы ты попросил у него Кармен, он продал бы ее тебе за один пиастр. Нас осталось только двое: как мы справимся завтра?

– Предоставь мне действовать одному, – ответил я. – Теперь мне сам черт не брат.

Мы похоронили Гарсию и перенесли нашу стоянку на двести шагов в сторону. На следующий день подъехали на мулах Кармен и ее англичанин в сопровождении двух погонщиков и слуги.

– Беру на себя англичанина, – сказал я Данкайре. – А ты припугни остальных, они не вооружены.

Англичанин оказался храбрецом. Не толкни его под руку Кармен, он бы меня убил. Короче говоря, в этот день я завоевал Кармен и с первого же слова сообщил ей, что она овдовела.

– Ты был и останешься *лильипенди!* – ответила она, узнав, как все произошло. – Это Гарсии следовало убить тебя. Твоя наваррская стойка – чепуха: он отправлял на тот свет и не таких, как ты. Видно, час его пробил. Твой час тоже пробьет.

– И твой тоже, – ответил я, – если ты не будешь для меня хорошей *роми*.

– Да, это так, – молвила она, – я много раз гадала на кофейной гуще, что мы кончим жизнь вместе. Ну что ж, чему быть, того не миновать.

И она щелкнула кастаньетами, как это делала всегда, когда ей хотелось отогнать докучливую мысль.

Иной раз теряешь меру, когда говоришь о себе, сеньор. Все эти подробности вам, верно, наскучили, но мой рассказ близится к концу. Жизнь, которую мы вели, продолжалась довольно долго. Завербовав несколько человек, более надежных, чем прежние, мы с Данкайре занимались контрабандой, а также, надо сознаться, разбоем на большой дороге, но только в крайности, когда у нас не было иного выхода. Впрочем, мы не трогали путников, только отбирали у них деньги. Первое время мне не приходилось жаловаться на Кармен. Она была нам все так же полезна, предупреждала нас о разных выгодных делах. Жила она то в Малаге, то в Кордове, то в Гранаде, но по первому моему слову все бросала и приезжала ко мне в какую-нибудь уединенную венту, а то и на стоянку под открытым небом. Только однажды, в Малаге, она дала мне повод для тревоги. До меня дошли слухи, что она остановила свой выбор на каком-то весьма богатом негоцианте, видимо, собираясь повторить свою гибралтарскую проделку. Невзирая на увещевания Данкайре, который пытался меня удержать, я тут же уехал и прибыл в Малагу среди белого дня. Я разыскал Кармен и сразу увез ее. Мы крупно повздорили.

– Знаешь, – сказала она, – с тех пор как ты стал по-настоящему моим *ромом*, я люблю тебя меньше, чем когда ты был моим *минчорро*. Я не хочу, чтобы мне досаждали и особенно чтобы мной командовали. Я хочу быть свободной и делать то, что мне нравится. Берегись, не доводи меня до

крайности. Если ты мне наскучишь, я найду какого-нибудь молодчика, и он поступит с тобой так, как ты поступил с Кривым.

Данкайре помирил нас, но мы наговорили друг другу такого, что обида легла нам на сердце и наши отношения дали трещину. Вскоре после этого случилась беда: нас подстерегли солдаты. Данкайре с двумя товарищами были убиты, двое других арестованы. Я был тяжело ранен и, если бы не мой добрый конь, попался бы в руки солдатам. Вконец измученный, с пульей в теле, я и мой единственный уцелевший товарищ спрятались в лесу. Слезая с лошади, я лишился чувств, а придя в себя, подумал, что подохну в кустах, как подстреленный заяц. Товарищ отнес меня в известную нам обоим пещеру и отправился за Кармен. Она была в Гранаде и тотчас же поспешила ко мне. Две недели она ни на минуту не отходила от меня, не смыкала глаз по ночам. Она ухаживала за мной с редким искусством и с такой заботливостью, какую ни один мужчина не видел от самой любящей женщины. Как только я смог держаться на ногах, она, храня величайшую тайну, отвезла меня в Гранаду. Цыганки всюду умеют разыскать надежное убежище. Я провел более полутора месяцев под боком у коррехидора, который тщетно разыскивал меня, и видел не раз из-за ставни, как он проходит мимо нашего дома. Наконец я поправился; но я о многом передумал на своем ложе страдания и принял решение изменить жизнь. Я заговорил с Кармен о том, чтобы уехать из Испании и попытаться зажить по-честному в Новом Свете. Она подняла меня на смех.

– Мы не созданы для того, чтобы сажать капусту, – сказала она, – наш удел – жить за счет *паильо*. Послушай, я затеяла одно дельце с Натаном бен Юсуфом из Гибралтара. У него имеются бумажные ткани, которые надо переправить. Все дело за тобой. Он знает, что ты жив, и рассчитывает на тебя. Что скажут наши гибралтарские посредники, если ты подведешь их?

Я дал уговорить себя и вернулся к своему гнусному промыслу.

В то время как я скрывался в Гранаде, там происходили бои быков, на которых побывала и Кармен. Вернувшись домой, она без устали рассказывала мне об искуснейшем матадоре по имени Лукас. Она знала, как зовут его коня и сколько стоит его расшитая куртка. Я не обратил внимания на ее слова. Но несколько дней спустя Хуанито, мой уцелевший товарищ, сказал мне, что видел Кармен с Лукасом у какого-то торговца в Сакатине. Это встревожило меня. Я спросил Кармен, как и почему она познакомилась с матадором.

– Парень нам может пригодиться, – ответила она. – «Шумливая река либо воды, либо камней полна»^[43]. Последние бои принесли ему тысячу двести реалов. Одно из двух: надо завладеть этими деньгами или привлечь

его к нам. Он прекрасный наездник и храбрец, каких мало. Почти все наши люди погибли, тебе придется их заменить. Возьми его к себе.

– Я не желаю ни его денег, ни его самого, – ответил я, – и запрещаю тебе разговаривать с ним!

– Берегись! – возразила она. – Когда мне говорят, не делай этого, я тут же все делаю наоборот.

К счастью, матадор уехал в Малагу, а я стал готовиться к переправке бумажных тканей еврея бен Юсуфа. Дело это причиняло мне много хлопот, да и Кармен тоже; я забыл о Лукасе, быть может, и она забыла о нем, по крайней мере, на время. Как раз об эту пору, сеньор, я встретил вас сначала возле Монтильи, а затем в Кордове. Не стану говорить об этой последней встрече: вы, вероятно, знаете о ней больше, чем я. Кармен украла ваши часы; она хотела присвоить также ваши деньги, а главное, кольцо, которое я вижу на вашем пальце. Она говорила, что это магический перстень и ей очень важно иметь его. Мы жестоко поссорились, и я ударил ее. Она побледнела и заплакала. Я впервые видел ее слезы, они сразили меня. Я попросил у нее прощения, но она дулась весь день и не захотела поцеловать меня перед моим отъездом в Монтилью. У меня было очень тяжело на душе, а три дня спустя она сама приехала ко мне, смеющаяся, беззаботно-веселая. Все было забыто, и мы вели себя, как юные любовники. Прощаясь, она сказала:

– В Кордове праздник, я хочу побывать на нем. Разузнаю, кстати, кто будет возвращаться оттуда с деньгами, и скажу тебе.

Я отпустил ее. Наедине с собой я стал размышлять об этом празднике и об изменившемся настроении Кармен. «Видно, она уже отомстила мне, – подумал я, – раз первая решила помириться». От встречного крестьянина я узнаю, что в Кордове бой быков. Кровь сразу вскипает во мне, я как безумный скачу в Кордову и отправляюсь в цирк. Там мне показали Лукаса, а на скамье у самого барьера сидела Кармен. Мне было достаточно взглянуть на нее, чтобы утвердиться в своих подозрениях. Как я и предполагал, Лукас явно красовался перед ней. Он сорвал кокарду^[44] с первого же быка и преподнес ее Кармен, а та сразу приколола ее к волосам. Бык взялся отомстить за меня. Лукас рухнул ничком вместе с лошадьёю, а бык свалился на них. Я поискал глазами Кармен, ее уже не было на месте. Я не мог выбраться из переполненного цирка, и мне пришлось дожидаться окончания корриды. Когда публика стала расходиться, я вернулся в известный вам дом и просидел там, не двигаясь, весь вечер и часть ночи. Кармен вернулась около двух часов утра и была немного удивлена, увидев меня.

– Ступай за мной, – сказал я.

– Ну что ж, едем! – ответила она.

Я сходил за своим конем, посадил ее позади себя, и мы проехали остаток ночи, не перемолвившись ни единым словом. На рассвете мы остановились в уединенной венте неподалеку от жилища отшельника. Тогда я сказал Кармен:

– Послушай, я все готов забыть. Я ни в чем тебя не упрекну. Поклянись только, что ты уедешь со мной в Америку и будешь жить там по-честному.

– Нет, – ответила она с сердцем, – я не хочу ехать в Америку. Мне и здесь хорошо.

– Все это из-за Лукаса; но ты пойми: если на этот раз он и поправится, долго ему все равно не прожить. Впрочем, к чему все валить на него? Мне надоело убивать твоих любовников – теперь я убью тебя.

Она в упор посмотрела на меня своим диким взором.

– Я всегда думала, что ты убьешь меня, – сказала она. – Перед тем как встретить тебя впервые, я увидела священника возле порога моего дома. А сегодня ночью, когда мы выехали из Кордовы, ты ничего не заметил? Заяц перебежал нам дорогу как раз между копытами твоего коня. От судьбы не уйдешь.

– Карменсита, разве ты меня больше не любишь? – спросил я.

Она не ответила. Она сидела на циновке, скрестив ноги, и что-то чертила пальцем по земле.

– Давай заживем по-новому, Кармен, – сказал я умоляюще. – Уедем куда-нибудь, где мы будем неразлучны. Ты же знаешь, неподалеку отсюда, под дубом, у нас зарыто сто двадцать унций... Да и еврей бен Юсуф еще не отдал нам всех денег.

На лице ее блуждала улыбка.

– Сначала я, потом ты. Знаю, так суждено, – молвила она.

– Подумай, – продолжал я, – и терпение мое, и мужество истожились. Решайся, или я сам приму решение.

Я ушел от нее и направился к жилищу отшельника. Я застал его за молитвой. Я подождал, пока он кончит молиться. Мне самому хотелось помолиться, но я не мог. Когда он встал с колен, я подошел к нему.

– Отец мой! – сказал я. – Не помолитесь ли вы о человеке, находящемся в большой опасности?

– Я молюсь обо всех страждущих, – ответил он.

– Не помянете ли вы за обедней человека, душа которого, быть может, скоро предстанет перед создателем?

– Да, – ответил он, пристально смотря на меня.

И так как вид мой, вероятно, показался ему странным, он попытался расспросить меня.

– Мне кажется, мы уже встречались с вами, – сказал он.

Я положил пиастр на скамью.

– Когда начнется обедня? – спросил я.

– Через полчаса. Я жду сына здешнего трактирщика, он будет прислуживать мне. Скажите, молодой человек, нет ли у вас на совести греха, который мучает вас? Не нужны ли вам советы христианина?

Я чувствовал, что вот-вот разрыдаюсь. Я пообещал ему прийти еще раз и сейчас же ушел. Я лег на траву и лежал до тех пор, пока не зазвонил колокол. Тогда я приблизился к церковке, но не вошел в нее. По окончании обедни я вернулся в венту. Я надеялся, что Кармен сбежала; она могла бы взять моего коня и ускакать... но я увидел ее. Она не хотела, чтобы кто-нибудь подумал, будто она испугалась меня. В мое отсутствие она распоролла подол своего платья и вынула зашитый в него свинец. Теперь Кармен сидела у стола, вперив взор в глиняную миску с водой, куда она вылила расплавленный ею свинец. Она была так поглощена своей ворожкой, что не заметила моего присутствия. Она то брала кусочек свинца и печально поворачивала его во все стороны, то напевала одну из тех чародейных песен, в которых женщины ее племени призывают к Марии Падильо, возлюбленной донна Педро, бывшей, как говорят, *Bari Crallisa* – великой королевой цыган^[45].

– Кармен! Ты поедешь со мной? – спросил я.

Она встала, бросила на пол миску и накинула на голову мантилью, явно собравшись в путь. Подвели моего коня, она села на его круп, и мы поскакали.

– Скажи, Кармен, – спросил я после недолгого пути, – ведь ты последуешь за мной, правда?

– Я последую за тобой в могилу, да, но жить с тобой я не стану.

Мы находились в уединенном ущелье, я осадил коня.

– Здесь? – спросила она и мигом соскочила наземь.

Она сняла мантилью, бросила ее к своим ногам и застыла на месте, подбоченясь и пристально смотря на меня.

– Ты не хочешь меня убить, понимаю, – сказала она. – От судьбы не уйдешь, но я не покорюсь.

– Прошу тебя, – проговорил я, – образумься. Выслушай меня. Я готов позабыть прошлое. А ведь это ты погубила меня, сама знаешь. Из-за тебя я стал вором и убийцей. Кармен, моя Кармен! Позволь мне спасти тебя и

самому спастись вместе с тобой.

– Хосе, – ответила она, – ты просишь невозможного. Я разлюбила тебя, а ты еще любишь меня и потому хочешь убить. Я опять могла бы что-нибудь наплести тебе, но мне не хочется утруждать себя. Между нами все кончено. Как мой *ром*, ты вправе убить свою *роми*, но Кармен всегда будет свободна. *Calli* она родилась и *calli* умрет.

– Так, значит, ты любишь Лукаса? – спросил я.

– Да, я любила его, одно мгновение, как и тебя, быть может, меньше, чем тебя. Теперь я больше никого не люблю и ненавижу себя за то, что когда-то тебя любила.

Я бросился к ее ногам, я взял ее руки, оросил их слезами. Я напомнил ей о счастливых минутах, которые мы пережили вместе.

Я обещал ей остаться разбойником, лишь бы умилоствить ее. Я предлагал ей все, сеньор, решительно все, только бы она согласилась любить меня!

Она ответила:

– Любить тебя – не могу. Жить с тобой – не хочу.

Ярость обуяла меня. Я выхватил нож. Мне хотелось, чтобы она испугалась, попросила пощады, но это была не женщина, а дьявол.

– В последний раз спрашиваю тебя, – воскликнул я, – останешься со мной или нет?

– Нет! нет! нет! – повторила она, топая ногой. И, сняв с пальца кольцо, мой подарок, швырнула его в кусты.

Я дважды ударил ее. Это был нож Кривого, я взял его, когда сломал свой. После второго удара она упала, даже не вскрикнув. Мне кажется, я до сих пор вижу пристальный взгляд ее больших черных глаз; затем они помутнели и закрылись. Я целый час просидел, уничтоженный, над ее телом. Затем я вспомнил, что Кармен несколько раз говорила мне о своем желании быть похороненной в лесу. Вырыв ножом могилу, я опустил ее туда. Я долго проискал ее кольцо и под конец нашел его. И кольцо, и маленький крестик я положил рядом с ней. Не знаю, быть может, я неправильно поступил. Затем я вскочил на коня, прискакал в Кордову и сдался в первой же кордегардии. Я сказал, что убил Кармен, но отказался наотрез указать, где ее могила. Отшельник был святой человек. Он молился о ней. Он отслужил обедню за упокой ее души... Бедная девочка! Во всем виноваты калесы: это они так воспитали ее.

Глава 4

Испания – страна, где в наши дни сосредоточено особенно много рассеянных по Европе кочевников, известных под названием *Bohémiens*, *Gitanos*, *Gypsies*, *Zigeuner* и т.п. В большинстве своем они обосновались или, точнее, ведут бродячую жизнь в южных и восточных провинциях – в Андалусии, Эстремадуре, в королевстве Мурсия; много их в Каталонии, откуда они часто переходят во Францию. Их можно встретить на всех ярмарках на юге нашей страны. Мужчины обычно торгуют лошадьми, лечат домашний скот и стригут мулов; помимо этого, они занимаются починкой тазов и медной посуды, не говоря уже о контрабанде и всяких недозволенных промыслах. Женщины гадают, попрошайничают и продают всевозможные снадобья, безвредные, а то и вредные.

Внешние особенности цыган легче подметить, нежели описать, и, увидев хотя бы одного из них, вы узнаете среди тысячи людей представителя этого племени. Лицо, выражение лица – вот что отличает их в первую очередь от других народов, населяющих ту же страну. Они гораздо смуглее тех, среди которых живут. Отсюда название *калеса* (черные), которое они нередко себе присваивают^[46]. Глаза у цыган большие, раскосые и очень черные, опущены длинными, густыми ресницами. Взгляд их можно сравнить разве что со взглядом хищного зверя. В нем чувствуются одновременно отвага и робость, что довольно хорошо передает характер этой нации, хитрой, отважной, но «от природы боящейся побоев», как Панург. Мужчины по большей части хорошо сложены, стройны, ловки; не припомню, чтобы мне довелось видеть хоть одного тучного цыгана. В Германии много прехорошеньких цыганок; среди испанских *хитан* красота большая редкость. В юности они могут сойти за привлекательных дурнушек, но, народив, детей, становятся попросту отталкивающими. Нечистоплотность мужчин и женщин не поддается описанию, и тот, кто не видел волос цыганской матроны, едва ли поймет, что это такое, даже вообразив себе жесткую, засаленную и запыленную конскую гриву. В крупных городах Андалусии иные молоденькие цыганки, более милovidные, чем другие, несколько больше заботятся о своей внешности и за деньги исполняют пляски, весьма похожие на те, что запрещаются у нас на публичных балах во время карнавала. Английский миссионер мистер Борроу, автор двух интереснейших сочинений об испанских цыганах, которых он вознамерился обратить в истинную веру на

средства Библейского общества, утверждает, будто не было случая, чтобы *хитана* проявила слабость к иноплеменнику. Мне кажется, что его похвалы целомудрию цыганок сильно преувеличены. Действительно, большинство испанских цыганок находятся в положении овидиевой дурнушки: *Casta quam nemo rogavit*^[47]. Хорошенькие, как и все испанки, весьма разборчивы в выборе любовников. Им надо понравиться, их благосклонность надо заслужить. В доказательство добродетели цыганок мистер Борроу приводит пример, который делает честь его собственной добродетели, а главное, его наивности. Некий знакомый ему человек сомнительной нравственности, утверждает он, тщетно предлагал несколько унций золота хорошенькой *хитане*. Андалусец, которому я рассказал этот случай, заметил, что этот безнравственный человек имел бы больше успеха, показав цыганке три-четыре пиастра, и что предлагать ей золото – способ столь же неубедительный, как и обещать миллион или два трактирной служанке. Неоспоримо, однако, что цыганки на редкость преданы своим мужьям. Нет такой опасности, таких лишений, на которые они не пошли бы, дабы выволить мужа из беды. Одно из названий, которое присвоили себе цыгане, а именно, *гоме*, или женатые люди, свидетельствует, по-моему, об их уважении к супружеству. В общем, можно сказать, что основная добродетель цыган – патриотизм, если можно именовать так их верность соплеменникам, их готовность помогать друг другу и нерушимое соблюдение тайны в иных неблагоприятных делах.

Впрочем, нечто подобное наблюдается во всех тайных обществах, находящихся вне закона.

Несколько месяцев тому назад я побывал в таборе, расположившемся в Вогезах. В шатре у старейшей в роде цыганки лежал смертельно больной цыган, человек чужой ее семейству. Несмотря на хороший уход в больнице, он ушел оттуда, чтобы умереть среди соплеменников. Он находился у своих хозяев уже более трех месяцев, и они относились к нему много лучше, чем к сыновьям и зятям, жившим под одним и тем же кровом. У него было мягкое ложе из соломы и мха с довольно чистыми простынями, тогда как остальные члены семьи – их было одиннадцать – спали на голых досках трех футов длиной. Таково гостеприимство цыган. Та же старуха, столь сердечно относившаяся к своему гостю, говорила мне при больном: *Sinó, sinó, homte hi mulo*. «Скоро, скоро ему суждено умереть». Впрочем, жизнь цыган так убога, что упоминание о близкой смерти несколько их не пугает.

Полное равнодушие к религии – одна из примечательных особенностей цыган. Не то чтобы они были вольнодумцами или скептиками. Отнюдь нет: безбожниками они никогда себя не считали; они

придерживаются вероисповедания той страны, где живут, но меняют его вместе с переменной отечества. Им одинаково чужды и суеверия, заменяющие религиозное чувство всем первобытным народам. Да и откуда было взяться суеверию у людей, которые кормятся за счет чужой легковёрности? Я убедился, впрочем, что испанские цыгане до странности боятся прикосновения к мертвому телу. Мало кто из них согласится даже за деньги отнести покойника на кладбище.

Я уже говорил, что большинство цыганок занимаются гаданием, и хотя гадают они превосходно, главным источником дохода служит им торговля талисманами и приворотными зельями. У них имеются не только лапки жаб для удержания неверных сердец или толченый магнит для пробуждения любви в сердцах бесчувственных; в случае надобности они прибегают к могущественным заклинаниям, заставляя самого дьявола приходить им на помощь. В прошлом году одна знакомая испанка рассказала мне такую историю: она шла как-то, грустная и озабоченная, по улице Алькала; сидевшая на тротуаре цыганка окликнула ее: «Красавица, ваш любовник изменил вам». Это была суцая правда. «Хотите, я заставлю его вернуться?» Легко понять, с какой радостью было принято это предложение и как велико было доверие, внушенное особой, которая с одного взгляда угадывала сокровенные тайны сердца. Из-за невозможности заняться магией на самой людной улице Мадрида свидание решили отложить до следующего дня. «Нет ничего проще, чем повергнуть изменщика к вашим ногам, – сказала хитана. – У вас, верно, найдется платок, шарф или мантилья, подаренные им?» Ей вручают шелковый шарф. «Теперь зашейте малиновым шелком в один угол шарфа пиастр, в другой – полпиастра, сюда – песету, туда – два реала. А посредине надо зашить золотой. Лучше всего дублон». Дама зашивает дублон и все прочее. «Хорошо, отдайте мне шарф, и ровно в полночь я отнесу его в Кампо Санто. Пойдемте вместе со мной, если вам хочется видеть настоящую чертовщину. Обещаю, не позже завтрашнего дня вы свидитесь со своим любимым». Цыганка отправилась одна в Кампо Санто: дама слишком боялась чертей, чтобы сопровождать ее. Предоставляю вам догадаться, обрела или нет покинутая женщина свой шарф и своего неверного любовника.

Несмотря на бедность и вызываемую ими неприязнь, цыгане пользуются известным уважением у людей малообразованных и очень кичатся этим. Они чувствуют свое умственное превосходство и открыто презирают народ, оказавший им гостеприимство. «Нечестивцы глупы, – говорила мне одна вогезская цыганка, – надуть их ровно ничего не стоит.

Давеча какая-то крестьянка подзывает меня, вхожу к ней. У нее дымит печь, и она просит меня поворожить, чтобы наладить тягу. Прежде всего я прошу дать мне большой кусок сала. Затем начинаю бормотать на *роммани*: «Ты дура, душой родилась и душой умрешь...» А подойдя к двери, говорю по-немецки: «Верное средство, чтобы печь у тебя не дымила, – это ее не топить». И пускаюсь наутек.

История цыган все еще представляет собой загадку. Известно, правда, что малочисленные их толпы впервые появились в Восточной Европе в начале XV века; однако мы не знаем, откуда и почему они пришли в Европу, и, самое поразительное, нам неизвестно, каким образом они наводнили за короткое время несколько областей, весьма отдаленных одна от другой. У самих цыган не сохранилось преданий об их первоначальной родине, и если они чаще всего называют своей колыбелью Египет, то лишь потому, что поверили ходившей о них стародавней легенде.

Большинство ориенталистов, изучавших язык цыган, считают их выходцами из Индии, ибо многие корни и грамматические формы *роммани* попадают в наречиях, происшедших от санскрита. За время своих долгих скитаний цыгане усвоили, понятно, немало иностранных слов. Так, во всех диалектах *роммани* встречается ряд греческих слов. Например: *cosal* – кость, от *χοχάλον*; *petalli* – подкова, от *πέταλον*; *cafi* – гвоздь, от *χαρσι* и т.п. В настоящее время у цыган почти столько же диалектов, сколько разрозненных орд – в их племени. Они лучше говорят на языке той страны, где живут, чем на своем собственном, и прибегают к последнему лишь для того, чтобы свободно разговаривать при посторонних. Сравнив диалекты немецких и испанских цыган, разобщенных между собой на протяжении столетий, мы обнаружим в них огромное количество одних и тех же слов. И все же изначальный язык цыган претерпел большие, хотя и разные по степени, изменения под влиянием языков более культурных, которыми вынуждены были пользоваться эти кочевники. Немецкий, с одной стороны, испанский – с другой, настолько исказили самую сущность *роммани*, что шварцвальдский цыган не понял бы своего андалусского собрата, хотя, обменявшись несколькими фразами, они признали бы, что говорят на диалектах одного и того же языка. Несколько наиболее употребительных слов свойственны, как мне кажется, всем цыганским диалектам. В словарях, с которыми мне довелось познакомиться, *pani* значит вода, *tanro* – хлеб, *mâs* – мясо, *lon* – соль.

Числительные почти идентичны во всех странах. Немецкий диалект, сохранивший немало изначальных грамматических форм, кажется мне гораздо чище диалекта испанского, перенявшего грамматические формы

кастильского наречия. И все же некоторые его слова составляют исключение, свидетельствуя о древней общности обоих диалектов. В немецком диалекте прошедшее время образуется присоединением окончания *iut* к повелительному наклонению, иными словами, к корню глагола. В испанском *роммани* все глаголы спрягаются по образцу кастильских глаголов первого спряжения. Так, согласно правилам, глагол *jamar* (есть) должен дать в прошедшем времени *jamé* (я ел), глагол *lillar* (брат) – *lille* (я брал). Однако старики цыгане говорят: *jayon, lillon*. Я не знаю других глаголов, в которых сохранилась бы эта древняя форма.

Излагая на этих страницах свои более чем скромные познания в языке *роммани*, я позволю себе привести несколько арготических слов, которые французские воры позаимствовали у цыган. Просвещенная публика узнала из *Парижских тайн*, что *chourin* означает нож. Это чистейший *роммани*; *tchouri* – одно из слов, встречающихся во всех цыганских диалектах. Г-н Видок называет лошадь *gres*; это опять-таки цыганское слово *gras, gre, graste, gris*. Упомянем также слово *romanichel*, под которым на парижском арготическом языке подразумеваются цыгане. Это не что иное, как искаженное словосочетание *rommané tchave* – цыганские парни. Но предметом моей гордости служит этимология существительного *frimousse* – личико, мордашка, которое все школьники употребляют или, точнее, употребляли в мое время. Прежде всего обратим внимание на то, что в своем любопытном словаре (1640 г.) Уден писал не *frimousse*, а *firlimouse*. Между тем *firla, fila* на *роммани* – это лицо; то же значение имеет и *tui*, полностью соответствующее латинскому *os*. Некий цыганский ученый-пурист сразу понял словосочетание *firlamui*, и, по-моему, оно соответствует духу его языка.

Всего сказанного вполне достаточно, чтобы у читателей *Кармен* создалось выгодное мнение о моих исследованиях в области *роммани*. Под конец приведу цыганскую поговорку, которая будет здесь весьма кстати: *En retudi panda nasti abela macha*: в наглухо закрытый рот мухе заказан ход.

notes

Примечания

1

Всякая женщина – зло; но дважды бывает хорошей: или на ложе любви, или на смертном одре.

Паллад

Андалусцы произносят «s» с придыханием, как нечто среднее между мягким «c» и «z», тогда как испанцы выговаривают его на манер английского *th*. Так, по одному слову *senor* легко узнать андалусца. (Прим. авт.)

Привилегированные провинции – это провинции, пользующиеся особыми правами, а именно: Алава, Бискайя, Гипуская и часть Наварры. Язык там баскский. *(Прим. авт.)*

4

На французский лад (*исп.*).

5

Сигареты (*исп.*).

Неверия – кафе, где имеется ледник или, точнее, погреб со снегом. В каждой испанской деревне есть такое кафе. (Прим. авт.)

В Испании любого путешественника, не имеющего при себе образцов коленкора или шелка, считают англичанином. То же наблюдается и на Востоке. В Халкиде мне оказали честь, представив меня как *милордос франсесос*. (Прим. авт.)

Сказать la baji – погадать. (Прим. авт.)

В 1830 г. этой привилегией пользовалось только испанское дворянство. При нынешнем конституционном строе право на удаление предоставлено также простому люду. *(Прим. авт.)*

Макилы – баскские палки с железным наконечником. (Прим. авт.)

Должностное лицо, ведающее полицией и городским хозяйством.
(Прим. авт.)

Обычный костюм крестьянок Наварры и баскских провинций. (*Прим. авт.*)

Pintar un javeque – расписать шебеку. У испанской шебеки идет обычно по борту полоса в красно-белую клетку. (Прим. авт.)

Да, сударь. *(Прим. авт.)*

Сад. (Прим. авт.)

Задирьы, бахвалы. *(Прим. авт.)*

Вся испанская кавалерия вооружена пиками. *(Прим. авт.)*

Алькала де лос Панадерос – местечко в двух лье от Севильи, где выпекают превосходные хлебцы. Говорят, что своим отменным вкусом они обязаны тамошней воде. Ежедневно их в огромном количестве привозят в Севилью. (Прим авт.)

Здравствуй, приятель! *(Прим. авт.)*

В большинстве севильских домов имеется внутренний двор, окруженный сводчатой галереей, в котором жители проводят время летом. Над этим двором натянуто полотнище, днем его поливают водой, а на ночь убирают. Дверь на улицу почти всегда открыта, а проход, ведущий во двор, перегороден железной решеткой превосходной работы. *(Прим. авт.)*

Masana sera otro dia – испанская поговорка. (Прим. авт.)

Chuquel sos pirela, Cocal terela – цыганская пословица. (Прим. авт.)

Засахаренные желтки. *(Прим. авт.)*

Род нуги. (Прим. авт.)

Король дон Педро, прозванный Жестокий, которого королева Изабелла Католичка называла не иначе как Справедливым, любил гулять вечером по Севилье в поисках приключений, подобно халифу Харун аль Рашиду. Однажды ночью на глухой улочке он затеял ссору с женщиной, дававшим серенаду. Произошла дуэль, и король убил влюбленного кавалера. Звон клинков привлек внимание какой-то старухи. Держа в руке небольшой светильник, *candilejo*, она выглянула в окно и увидела сцену поединка. Надо вам сказать, что король дон Педро, в общем человек здоровый и сильный, обладал одним странным физическим недостатком: при ходьбе его коленные чашки громко хрустели. По этому хрусту старуха сразу узнала короля. На следующий день дежурный *вейнтикуарто* доложил королю: «Ваше величество, этой ночью на такой-то улице произошла дуэль. Один из дуэлянтов убит». – «Убийца найден?» – «Да, ваше величество». – «Почему он еще не наказан?» – «Я жду ваших приказаний, ваше величество». – «Действуйте согласно закону». В самом деле, незадолго до этого король опубликовал указ, гласивший, что всякий дуэлянт будет обезглавлен, а голова его выставлена на месте поединка. *Вейнтикуарто* остроумно вышел из положения: он велел отпилить голову у одной из королевских статуй и выставить ее в нише посреди улицы, где произошло убийство. Король и все горожане нашли этот выход весьма удачным, и улица получила название Кандилехо в честь светильника старухи, единственной свидетельницы поединка. Таково народное предание. Суньига излагает это происшествие несколько иначе (см. *Летопись Севильи*, т. II, стр. 136). Как бы то ни было, в Севилье до сих пор существует улица Кандилехо, а на ней высеченный из камня бюст, якобы изображающий дону Педро. К сожалению, бюст этот не прежний, ибо тот обветшал еще в XVII веке и, по распоряжению муниципалитета, был заменен новым, тем, что стоит там и поныне. (*Прим. авт.*)

Rom – муж, *roti* – жена. (Прим. авт.)

Calo; женский род – *calli*; множественное число – *calés* (калеса).
Дословно: черный. Так цыгане называют себя на своем языке. (Прим. авт.)

Испанские драгуны носят желтую форму. *(Прим. авт.)*

Me dicas vriarda de jorpoу, bus ne sino braco – цыганская пословица.
(Прим. авт.)

Святая, здесь – Пресвятая Дева. *(Прим. авт.)*

Виселица, вдова последнего повешенного. (*Прим. авт.*)

Лалоро – Красная (земля). (Прим. авт.)

Арготический термин, под которым подразумевается «цыганка». *Roma* обозначает здесь не Вечный город, а народ *роми*, или женатых людей – так называют себя цыгане. Первые цыгане, появившиеся в Испании, пришли, вероятно, из Нидерландов, отсюда и привившееся к ним название фламандцы. (Прим. авт.)

Луковичное растение, из корней которого готовят довольно вкусный напиток. (*Прим. авт.*)

Обычная пища испанского солдата. *(Прим. авт.)*

Воровать искусно, похищать без применения силы. *(Прим. авт.)*

Род вольнонаемных отрядов. (Прим. авт.)

Sarapia sat pesquital ne punzava. (Прим. авт.)

Прозвище англичан, данное им испанским народом из-за цвета их мундиров. (*Прим. авт.*)

На каторгу или ко всем чертям. (*Прим. авт.*)

Минчорро – любовник, или, точнее, предмет мимолетного увлечения.
(Прим. авт.)

Navarro fino. (Прим. авт.)

Len sos sonsi abela, pani o reblendani terela – цыганская пословица.
(Прим. авт.)

La divisa – бант, цвет которого указывает, с какого пастбища пригнан бык, прикрепляется к шкуре животного особым крючком, и матадор проявляет верх галантности, преподнося женщине этот бант, сорванный с живого быка. (Прим. авт.)

Марию Падилью обвиняли в том, что она околдовала короля дона Педро. Согласно народной молве, она подарила королеве Бланке Бурбонской золотой пояс, показавшийся живой змеей замороженному взгляду короля. Отсюда то отвращение, которое он всегда питал к своей несчастной супруге. *(Прим. авт.)*

Мне показалось, что немецкие цыгане не любят, чтобы их так называли, хотя и прекрасно понимают слово *калеса*. Они называют себя *романе чаве*. (Прим. авт.)

Девственница, которой никто не пожелал (*лат.*). (Прим. авт.)